Неопалимая когда нашлась бы книга…

Раздел 1
Летом 1658 года Полтава сгорела дотла.
Горели соломенные крыши над Ворсклой.
Плавились приделы деревянных церквей.
Ветер был сильный. Пламя гудело.
И долго ещё летал над руинами магистрата
легчайший пепел
сожжённых бумаг -
всех тех книг городских Полтавских,
в которых были записи текущих судебных дел.
Может, там было и дело Маруси Чурай?
Может, и не дошло до нас никаких свидетельств
об этом,
потому что книги городские Полтавские «в войну,
во время грабежей города,
огнём сожжены?»

А что, когда нашлась хотя б одна,-
в монастыре или в чердачном ларе?
И уцелела бы на том пожаре -
неопалима, словно купина?

И мы читали б тот старинный том,
гусиным писарь вывел в нем пером,
что года Божьего такого-то, и месяца такого-то,
и дня,
перед Мартыном Пушкарём, полковником,
в присутствии Семёна Горбаня,
что был в то время правящим в Полтаве,
где Бог, судья и люди - при ролях,
Чурай Маруся - на судебной лаве,
свидетелей полгорода в дверях.

И загудела б книга голосами,
все б говорили, но не то же самое,
и бури чёрные больших людских страстей
пытались буквы спутать на листе.

И старая Бобренчиха, вдова,
суду сказала б эти вот слова:
- Пан полковник и пан правитель тоже!
Жалуюсь я Богу и вам
на Марусю,
что забыла она страх божий,
отравила сына моего Григория.
И тогда сын мой Григорий насильственной смертью умер,
на здоровье перед тем не жалуясь,
от отравы и от чар бесовских.
Это вам, паночки, по совести скажу, правдиво,
и выставлю свидетелей.
И, обвинив Марусю Чураивну,
тогда судья сурово вопросил,
когда, зачем и по какой причине,
и кто на дело страшное подбил?

Она же не сказала ни словечка,
и, в оправданье не промолвив речи,
как будто камнем стала, мёртвым вечно.

Тогда толпа вдруг загудела люто:
- Уже она признала всё прилюдно!

Когда на Гриця мёртвого упала,
то прокричала, как траву копала,
как полоскала, как её варила,
как рано утром Гриця отравила.
И пела так, как будто голосила.

Себе же мести Божьей так просила,
так выводила, как она умела!
И вдруг потом - как будто онемела.

Тогда мы, судьи, убедившись в деле,
что умер Гриць, отравленный в четверг,
предать земле велели на неделе
и стронуть дело криминалитер.

Убийцу же, Марусю, до расправы
скрепить связаньем города Полтавы.

Бобренчиха ж, почтенная вдова,
пусть Богу уповает за права.
Свидетелей надёжных представляет
из тех, кто рук неправдой не марает.
Чтоб все они по чести рассказали,
что тут других убийц и не бывало.
Мы ничего еще не доказали,
хотя преступница вину свою признала.

Приняв свидетельство, Параска Дёмиха,
в летах почтенных,
признала:
- Одну душу Богу хоронят, а было так.
Недавним делом, с петухами, вышла я…
- …Чтобы тряхнуть Левкову грушу, -
кто-то подсказал.

- Панове судьи! Лесько Черкес меня на правде смазал!

Тогда мы, суд, сказали и Черкесу, и также всем,
лично присутствующим, чтоб речи
свидетелей не перебивали;
Невеж мы просто выставим из ратуши,
и двери будут взяты на крючок.

- Вот, говорю, пораньше, с петухами,
когда я вышла глянуть на дворе,
примстилось,
что-то сбилось в дымоходе, -
глядь: Гришка возвращается домой.

Откуда б так? И вроде даже пьяный,
никак свою рубашку не натянет.
Так спрашиваю, мы ж соседи:
- Эй!
И что ж тебя так, парень, задержало?
- Да выпил чарку у одних людей,
а что-то сердце будто бы зажало.

Тут через время слышу - у Бобренок
какой-то шум. И я по огороду:
лежит Грицько, уже синеет даже,
хрипит, дрожит, одежду с шеи рвет.
Я ж говорю Бобренчихе: кума,
ой, кумушка, болезнь-то питьевая!
И что уже над ним мы не творили -

шептали, тёрли, сглазы отводили,
траву святую под затылок клали,
водою мыли и переливали
страданье на бобренкового пса, -
не помогло. Он что-то лепетал.
И все заплакали, кто там тогда стоял.

В таких походах пуля облетела,
и вражья не смогла убить рука,
а девушка отмщенья захотела -

и отравила насмерть козака!
И он лежит в гробу весь в чернобривцах,
навеки спит. А эта чаровница…

- Есть доказательство, что от неё питье?
- Откуда ж, если вдруг не от неё?
Кому еще он покалечил жизнь?
Кто знает - тот суду скажи!

Тогда на суд был призван и Фесько,
дозорный верный войскового скарба,
и перед Божьей клятвою признал:
- Панове суд!
О том я точно знаю.
И коли вру - на душу грех беру.
Ту девушку раз восемь уж встречаю
У мельницы в ночи иль поутру.
Над Ворсклою с покойником стояла,
то есть живой он был ещё тогда.
Всмотрелся, вижу - что-то замелькало:
луна, две тени, мельница, вода.
А мне-то что? На это нет приказа.
Свиданье, раз они сейчас вдвоём.
Но все-таки полезли мысли сразу:
чего сошлись аж где-то за селом?
И вдруг я вижу: что-то в воду прямо
так плюхнулось - и охнула вода.
А мне от страха ноги вдруг отняло;
подумал, утопилась, вот беда.
Так хорошо, Иван был рядом где-то.
Полуживую из воды достал.
Тут шурин утонул мой прошлым летом.
Тут гиблый омут, это каждый знал.
Судья сказал:
- Печально это. Знаем.
И шурин утонул, всё это так.
Но мы другое дело разбираем -
не как топилась, а травила как.

Свидетельство такое не по праву,
тут надо четко провести межу.

- Так я ж не видел, как дала отраву.
А как топилась - видел и скажу.

Тогда Бобренчиха представила
других людей,
числом семнадцать.
Из тех семнадцати годятся пять,
которых можно привести к присяге.

Ну, те сказали, что Маруся - ведьма.
И что в Полтаве хуже просто нет.
Про то все знают, и по ней все видно.
Сама сложила про себя куплет:

« Какая девушка брови чёрные имеет,
Такая девушка всеми чарами владеет».

И то она наколдовала к сроку,
что покалечил Савку Саврадим.
И даже превращается в сороку,
иль из камина вылезет, как дым.

- Панове судьи, я прошу прощенья, -
сказал Горбань с бумагами в руках. -
Я оглашу повторно обвинение,
чтоб не сбивали суд на пустяках.

Козак Бобренко, именем Григорий,
один был сын почтеннейшей вдовы,
которая сейчас в глубоком горе,
что не склонить не в силах головы, -

четыре года он бывал в походах,
и нареканий никаких не знал.
Был под Пилявой и на Жёлтых Водах;
везде, где полк Полтавский воевал.

И вот домой вернулся этим летом, -
хозяйство развалилось за войну.
Как молодому суждено на свете,
хотел ввести он в дом себе жену.

И девушку он выбрал, чтобы ровня,
по сердцу, видно, был и ей козак.
Грицько посватал Галю Вишняковну,
намеревался он вступить с ней в брак.

Чурай Маруся - та его любила,
любила, правда, верно и давно.
Тогда из ревности его убила,
она отраву всыпала в вино.

В отчаянье ль Маруси мысли были -
неведомо. А ревность - как чума.
Она убийца. А жених в могиле.
Себя убийцей чувствует сама.

Панове, очень страшная здесь правда.
Пусть встанет совесть на охрану права!

Советуясь, велели пред судом
поставить тут Григория невесту.
И Галя Вишняковна подошла.
Мы расспросили всё у ней как надо,
но бережно, ведь молодая всё же.
Старались без подробностей жестоких,
чтоб боли лишней не принесть душе.

И все ж она признала откровенно:
что так и так, друг друга мы любили,
хотели пожениться… нету слов…
А что ходил он к этой вот колдунье,
панове суд, не истина совсем.
Она же разум у него украла,
так эти думы с прошлым разошлись.
А раз она ему немилой стала,
так кто ж его насиловал: женись!
Она же, глупая, чего тогда топилась,
потом болела, и ещё – слегла.
Я говорю: чего ты прицепилась?
Иль ты его как собственность взяла?
А он такой, что людям врать не будет.
Грицько - не бабник, с честною душой.
Он сам сказал: её теперь забудет.
И в доме нашем был уже как свой.
Сошлись на осень, если б не утрата.
За месть - теперь убийца даст ответ.
Уже отец на свадьбу так потратился,
а Гриша умер… Гриши больше пет…

- Мы будем откровенными, поверьте, -
сказал судья. - Сейчас не до прикрас.
Так почему же в ночь пред самой смертью
он всё же у неё был, не у вас?

Тогда Вишняк, униженный

таким тяжким неуважением дома своего,
просил дочку не спрашивать больше.
Сочувствуя, тут Галю отвели,
заплаканную, бабы в бабий угол.
При каждом деле
бабий угол есть.

Тогда судья опять взглянул на лаву:
- Убийца объясненья принесёт?
Она ни слова не сказала праву.
Стоит. Молчит. И смотрит. Это всё.

Тогда сама Бобренчиха, вдова,
промолвила суду свои слова:

- Молчит, ей стыдно. Видно, Богу грешная.
Я знаю всё, как будто там была.
В ту ночь она сама его, конечно,
распутница, обманом привела.
Стоит, святая будто или Божая.
Ох, скрытная такая уж она!
Хотя лицом на ангела похожа,
зато в душе - так точно сатана.

Когда б я про неё вам рассказала -
о ней кто не рассказывал кому? -
она в Полтаве всех околдовала,
мозги дуря не Гришке одному!

И Горбаня как будто осенило:
- Так, может, это колдовская сила?
Быть может, это зелье - приворотно?
Бороться с ним берутся неохотно.
Тогда от Гали он пошел к Марусе
без воли, в тяжком сатанинском вкусе.
А зелье, знаете, такая сила -
где колдовство, а где, глядишь, могила.

Судья сказал, что случаи бывали,
кому-то что-то где-то подливали.
И было очень громким это дело,
и слёз тогда пролито без предела.
Но всё ж задумаешься поневоле:
а не было ль тут
чьей-то чёрной воли?

Тут замешались вместе правда, ложь.
- Я, как судья, открыто заявляю,
была отрава это или что ж? -
убийством всё же действие считаю.

Горбань сказал, что и сомнений нет.
Позор, убийство, - оба поворота.
И он, Горбань, хороший даст совет:
ей надо дёгтем вымазать ворота!
(И, кстати, откровенно тут заметим,
что предостаточно имел он дёгтя,
поскольку он, как выяснилось позже,
«из общего запаса дёготь крал»,
за что и был перед судом поставлен;
потом, по правде, власть ещё держал.
И даже гетьману Демьяну Многогрешному
на самого полковника Жученко
успел ещё «крамолку» донести).

Пушкарь сказал, что так-то оно так,
он честь девичью уважает тоже.
Но Гриць не из последних был гуляк.
Тут, дорогие, дёготь не поможет.

Неважно, что там было за питьё,
в молве по злобе тонет справедливость.
Но сам же Гришка сбил с пути её,
и то была любовь, а не блудливость.

Тогда вдова Бобренчиха сказала:
- Да уши вянут на брехню от вас!
Себя Маруся Гришке навязала!
- В какой же способ?
- Расскажу сейчас.

А это было на Петра Капустника,
как раз на самый солнцеповорот.
Имела, люди, сына не распутника.
И хату холил он, и огород.

Когда ж она его околдовала,
взбесился и отбился он от рук.
Пусть вам расскажет Процык Кулевара,
Семён Капканчик и Ромашко Струк.

Он перестал ходить на вечерницы,
не видел ни девчат, ни молодиц.
А всё ходил лишь к этой чаровнице.
Недаром в речке топят чаровниц.

Она его ровесница, панове.
А голова дурная на плечах.
Траву веселья я варила снова,
чтоб от тоски сынок мой не зачах.
А он - весь там! Как раз перед походом
мне не спалось однажды на беду.
Григорий встал - и шасть за огородом.
А я тихонечко за ним иду.

Остановилась возле самой грядки,
там дальше луг, раздолье для пчелы.
И думаю: а дулю вам, ребятки,
чтоб вы меня вкруг пальца обвели.
В обувке мягкой, постолы свинячьи,
чтоб не шуршало - волосом на стык.
Трава смягчала…
Вдруг смотрю - маячит,
от чураёвой хаты – и в кусты.
А вечер тёмный, занавесью виснет.
Гора шумит… Как будто дождь простой.
Она ему на шею и повисла! -
А я себе засела за кустом.

Тут засмеялся кто-то неуместно.
Пушкарь седою бровью шевельнул.
- Так ваш поступок просто был нечестным.
Какой вас черт на это подтолкнул?

- Сыночек-то единственный, панове,
главнее глаза и важней руки.
Один в душе занозою терновой,
не дай же Бог, подался б в приймаки!

- Ну, хорошо, коли охота лезть вам.
То дело ваше, хоть и грех для них.
Вы, мать, не наказали за бесчестье!
И почему не разлучили их?

- Чтоб на замужних он поставил метки?
И сбился бы с пути уже совсем?
Или ходил бы к Таце Кисломедке,

которая таскалась черт-те с кем!

Тут как подскочит Таця, как смережит,
шумнула юбкой десяти аршин:
- Орихна, лихоманка меня держит!
Ты на меня хоть, сука, не бреши!

- Так я брешу?! Тут люди из правленья,
и пусть мне наказанье Бог даёт:
за клевету в судебном помещении
всю душу вместе с телом отобьёт!

Вдове велели замолчать и сесть.
А Таце за несдержанность и лживость
два фунта воска для церквей принесть.

Утихомирилась людская гуща,
и новый призван был сюда свидетель,
Семен Капканчик, молодец непьющий,
товарищ Гриця, друг и благодетель.

Велели мы Капканчику Семену
суду поведать правду по закону.
Он произнёс:
- Тут каждый что-то скажет.
Уже Грицько от сплетен аж облез.
Кому на самом деле это важно?
Душа чужая - это тёмный лес.

Тут суд на каждой кочке спотыкался,
то знают все, и Галя - не глуха.
Он сватал ту, у этой оказался,
А кто из нас, скажите, без греха?

Да то ж как в песне:
«Ой, да в поле три крыныченьки,
любил козак три дивчиноньки,
чернявую да белявую,
да ещё и рыжую поганую».
И было ему очень тяжко.
Рыжей, правда, не бывало.
Была чернявая да белявая,
метался между двух,
то ж подпалил халявы.

А надо было всё серьёзно рвать бы,
ещё с полгода выждать бы тогда.
У Гальки были б мы сейчас на свадьбе,
не отнимали время у суда.

Загомонили люди, закивали, -
что ж говорить, мы все в свой час гуляли.
Тут правды чистой вечное лицо.
И кто-то кинул сальное словцо.
Тогда встала мать, Чураиха,
и сказала так:
- Пан Пушкарь, полковник полтавский,
а благодетель наш!
Что могу вам сказать? Спасибо, что стало тише.
Вон сидит писарь, Туранский Ильяш.
Пусть он слёзы мои запишет.

Душа чужая, скажут, - мутный плёс.
А я отвечу: темнота - не в каждой.
Душа - она как море тихих слёз,
плевать в неё - то грех большой и тяжкий.

Какую муку призовёт каратель
на бедное несчастное дитя?

Или придумал суд и магистраты
страшней той жизни что-нибудь, шутя?

Вы грамотные. Вам латынь в подмогу.
За шаг до смерти, чтобы вечно спать,
я так прошу вас, люди, ради Бога:
не надо грязью в девушку бросать.

Свидетели притихли и смутились,
и слезы с тихим блеском покатились.

И там, уже не вызванный никем,
присягу принял Шибилист Яким.

- Простите… Я… ещё побеспокою…
Хочу, чтоб мой послушали ответ.
Марусю помню крошечкой такою,
и Гриця знаю с самых первых лет.

Несчастная сидит здесь Чураиха.
Хоть раз в суде пришлось ей в жизни быть?
Я мимо хаты их как раз и ехал,
как Гриця проносили хоронить.

Кричала ли за ним так мать родная,
когда звонили по его душе?
Он был ей словно кровный, мы же знаем!
У них и вырос там на спорыше.

Своё дитя кормила и качала
с соседским вместе, тою же рукой!
Бобренчиха ж всё время воевала
за курицу, телушку, двор большой!

Всё некогда. Да так оно и было.
Сегодня сыт, раз ел вчера своё.
Дитя чужое в люди выходило
и разум обрело у Чураёв.

Когда ж у юноши усы пробились,
и Чураивне подошла пора,
тогда ему Маруся полюбилась.
Так радоваться б только матерям!

Оно и выходило так сначала,
но Грицю скоро с войском уходить.
Повырастали вербы и девчата.
Да надо ли про это говорить?

Но так его Маруся ожидала,
одна такие годы пробыла!
Ни сердца, ни руки не отдавала,
по сторонам и глазом не вела.

А Гриць не мерил меркою такою,
и в жизни путь искал он не прямой.
Родился под другою он звездою,
душою обзавёлся он двойной.

От берега до берега бросался,
за песнею - достаток добывал.
Как будто, скажем, Божьей вере клялся,
и тут же душу чёрту продавал.

- Пусть снизойдёт Господь до слёз вдовицы! -
Бобренчиха вдруг принялась рыдать.
- Панове суд! Я верю этим лицам, -
сказал Пушкарь,
Горбань - своё опять:

- А что в доверии и есть порукою?
Вы уведёте суд на ложный путь.

- А у меня, судья, слова не куплены,
и я не продаюсь за что-нибудь.
Хотите взятку? Говорю вам: зря.
В глаза мне поглядите, станет легче.

- Панове! До Мартына Пушкаря
тут важный гость с бумагами из Сечи.

…Вошёл, как гром от шляха ветрового,
отдал поклон и молвил хрипловато:
- Полковник, вам письмо от кошевого.
- Спасибо. Сядь. Мы рады видеть брата.
Есть новости?
- Теснит нас сила вражья,
Богдан козацтво всё стянул под Белой.
Нам нужен порох да людей отважных.
(А к Радзивиллу шёл Потоцкий смелый).
Сломал полковник важные печати,
читал письмо, ещё не огласив.
Посланец распрямился в гордой стати
и тех, поближе, жителей спросил:

- Ну, как тут, мирно? Всё переписали?
Язык сломали от судейских врак?
Бойцы, вздохнувши тяжко, отвечали:
- Да тут такое! Ведь погиб козак.

- Погиб? Козак? Что тут у вас в Полтаве?
Осада иль измена? Звон боёв?
- Да нет. Маруся. Вон сидит на лаве.
Убила хлопца. Судим мы её.

Тот засмеялся:
- Да какого беса!
Под Белой Церквой стянуты полки.
Горит наш Киев, рушатся Трилесы.
У вас же вон как гибнут козаки!

Там бой. Там смерть. Границы слом - не шутка.
Людей нехватка. Льется наша кровь.
А тут – погиб… У вас ещё на юбки
не перешили ваших хоругов?

- У вас, у нас. Вы - Сечь, а мы Полтава.
У вас права, мы ж - охраняем право.
А за убийство есть у вас закон?
Козак сказал:
- Простой. Когда по злобе
козак до смерти спорит с козаком -
живого с мертвым вместе, в общем гробе!

- А тут наоборот, иначе всё.
Смерть парню ручка женская несёт.

- Запечники, у вас такая смерть?
Бесславно пал, а вы своё: убитый.
А запорожцы - люди без круть-верть,
всё скажут прямо на своё копыто.
А если б мы мычали, как волы,
и если б так чесали языками,
к продаже Украину б подвели,
и не успели б стать мы козаками.
Вот девушка… И личико - с икон.
Вам, видно, мести надо непременно?!
Посправедливей выбрать бы закон -
не про убийство чтоб, а про измену!

Ну, есть же про измену там статья?
Не всякой каре надо быть безбожной.
Выходит так, что изменить нельзя
стране никак, а человеку - можно?!

Судья сказал:
- С наскоку нет закона.
Тут, запорожец, надо Соломона.

Казак сказал:
- Перемудрили вы.
Здесь надо только сердца, головы.

Тогда у власти закипела сварка.
Тот хочет этак, этот хочет так.
Лесько сказал:
- Кого и вправду жалко,
так то Ивана Искру. Вот – козак.
Такое горе хоть кого положит,
тут может разум весь сойти на нет.
Любил же он Марусю, не дай Боже!
На нём лица, смотрите, просто нет.

Уж выступать никто не согласился.
Судья дождался, чтобы шум умолк.
Полковник встал, достойно извинился, -
на Белую отправить должен полк.

Подвинул с мест главу и бургомистра.
Посольство расступилось на аршин.
И вышли двое. С ними вышел Искра
и кое-кто из полковых старшин.

А в день другой, во время зегарово,
суд приступил к своим расспросам снова.
Сказали Чураивне, чтоб она,
ответственная, значит, сторона,
поставила свидетелей здесь честных,
и верою, и правдою известных.

Ведь мы же, власть, законы понимаем,
и нет здесь для бесправия причин.
И, может быть, чего-нибудь не знаем,
что это преступление смягчит.

Убийце же как будто дела нет, -
лишь покачала головой в ответ.
Нам это очень ярко показало,
что виновата. Слова не сказала!

Услышав эти страшные слова, -
её в свидетели не выставляли, -
Ящиха Балаклейска Кошевая
воскликнула:
- Не всё ещё сказали!

Остались дома деточки малые.
Мой муж погиб в боях на Приазовье.
А я пришла сюда аж с Балаклеи,
хотя давно уже не при здоровье.
И вам скажу открыто и прилюдно,
злодейка – доля, случай, как ни кинь.
Любовь же, люди, дело неподсудно
во все века. Во век веков. Аминь.

На это сам Горбань пожал плечами:
- Вот верно женщин на пускают в Сечь.
Ведь это бабья глупость изначально,

и попусту такая ваша речь.

- Я столько лет судействую в Полтаве,-
сказал судья. - Немало видел дел.
Сидели всякие тут у меня на лаве,
но я такой мороки не имел.

Он грузно встал, упёрся в стол руками:
- Мы выслушали всех без возражений.
Все версии вы выдвинули сами, -
идем на рассмотренье предложений.
Тут были мысли разные на пробу,
и верный след у правосудья есть.
Но кто имеет мнение особо,
тот пусть суду его доложит здесь.

Молчали все.
Никто не отозвался.
И в книге писарь буковки низал.
Пушкарь, полковник, со скамьи поднялся
и с твердой верой в голосе сказал:

- Панове судьи! Тяжкая такая
вся эта штука, что к чему вело.
Пускай простит и та мать, и другая,
их сын и дочка сотворили зло.
Такой обиды девушке наделал!
Добыл беду, земля ему пером.
И можно было раньше видеть смело,
что это не закончится добром.

Но мы от правды отступать не станем,
иль так уж мир замешан весь на зле?
Коль зло за зло давать не перестанем,
то как же жить нам, люди, на земле?
Ведь Божьим душам грязи, ох, не нужно,
не оправданье даже и любовь.
Ну, надо же, чтоб так погиб хорунжий,
что наклонить не можем хоругов!
И кто ж убил хорунжего? Дивчина!
А так за милым тужит - как вдова.
Вот посмотрите. Есть тому причина.
Она стоит почти что нежива.
То страшное небудничное дело,
и с приговором надо ли спешить?
Оно, скажу вам, легче, если смело
на битве дело саблею решить.

Гук, атаман, сказал, что это правда.
Тут надо разобрать все виды права.

Горбань сказал:
- И так уже всё ясно.
И истину никто не отменил.
Панове судьи, объявляю гласно:
а правда в том лишь, кто кого убил.

Ответил Гук:
- Но забывать не надо,
кого здесь кто изменою терзал.
А правда от рожденья слеповата.
Она не видит, кто её сказал.

Горбань отбросил:
- Я скажу суду,
две разных правды есть у нас в виду.
Тот тянет влево, а другой – направо.
А есть одно, и так уж испокон:
Устав Литовский, Магдебурско право,

панове судьи, - вот для нас закон!

- Что скажут люди? -
… Люди – безглагольны.
- Накручено, - судья сказал тогда, -
которые уж очень сердобольны,
таким никак не место у суда.

Четыре раза тут мы собирались.
Свидетели достойные у нас.
А как травила - все ж не разобрались.
Уже пора бы огласить наказ.

Она молчит, убивица. Тем паче.
И это в дело надо залучить.
Вот матерь в горе. Вишняковна плачет.
А та молчит.
Про что она молчит?

Такого же не видела Полтава.
И суд такого, нет, не примечал,
чтоб тот, кто осуждается по праву,
плевал на это право и молчал.

И гневно полтавчане зашептали:
- Так все законы к бесу полетят!
Откуда, надо выяснить, у крали
вдруг да нашёлся этот страшный яд?

Дошли до точки. Все переругались,
решения спокойно не принять.
До истины ещё не докопались,
а знаем то, чего не надо знать.

- А, кроме, так замучены мы действом, -
сказал судья, - ещё не выясняли,
а были ли замешаны в злодействе
помощники, что девке подсобляли?

Так что мы будем думать на гаданье?
Закон для этих выдуман задач.
Её приговорим на испытанье.
Пусть жёстко потолкует с ней палач.

Иван - на то:
- Панове, так жестоко!
И Божьи слёзы не падут с икон?
Так где ж оно, всевидящее око?!
Да что ж за глухоаспидский закон?!!

- Но как же, люди? Девушку - на муки?!-
блеснула сабля вдруг из-под полы.
Леську за бунт тут заломили руки
и к выходу из зала повели.

Он побледнел, и губы закусил,
и всех судейских в стороны струсил:
- Вы, канцелюги, и в чернилах пальцы,
бумажек кодло, им же и родня,
хватальники, в походах небывальцы.
Кого взялись вы скручивать… меня?!

И напрямик, в единый скок, спрожогу, -
ну, кто ж за хлопца душу не продаст? -
промеж людей он проложил дорогу
да по столу с оттяжкою как даст!

Суд дрогнул, и отхлынула толпа.
Горбань от головы до ног застыл.

Козак вспотел, и сабля пополам.
А стол такой же, как и раньше был.

- Мечи, полковник, помню, оттакецкие
щербились все об сабельку мою.
И шлемы турков, панцири шляхетские
Лесько Черкес разрубывал в бою!
Чего ж я не могу разделать это?!
Иван сказал:
- Так древнее же, вот!
И вражью крепость легче взять с рассвета,
а этот стол и сабля не берёт.

(Они с Леськом бывали вместе
в битвах,
так выкинули штуку не одну.
И Разину он станет побратимом -
Леськом Хромым. Погибнет на Дону.).

И встал Пушкарь. Обвёл людей очами.
Платки. Очипки. Свитки. Жупаны.
И голова над мощными плечами
была как башня в шапке седины.

Не старый. Силу, славу взял такую!
(О нем позднее думу запоют.
Пройдёт семь лет - ту голову седую
Виговскому на копьях подадут).

Пушкарь сказал:
- Грех этот непрощённый.
Карать и только, в наказанье – суть.
И так карать, чтоб честный люд крещёный
не мог ни в чём судейских упрекнуть.

Закон есть суть, твердыня до основы.
Он для того и оглашён судам.
Но только, как хотите вы, панове,
на пытку разрешения не дам!

Тогда мы, суд, в согласии одном
над словом тем задумались и взвесили:
на пытки подсудимую не слать.

И правый суд мы продолжали дальше,
как будто в жилах поостыла кровь,
как будто ничего и не случилось.

Лесько Черкес за крик и за погром
пускай пеню внесёт в казённый счётный дом.

…Сидела Галя, на цветок похожа.
Иван сидел с исплаканной душой.
Сказали люди:
- Будет воля Божья! -
опять обсели круглый стол большой.

Суд рёк:
- Законы судопроизводства
тут сомневаться не дозволят нам,
мы не дадим разбойному уродству
привычным делом стать у христиан.
Смерть за убийство. Надо так исполнить.
Топить иль вешать, голову рубить.
И нам велят статут и право помнить:
предмет для спора - КАК её убить?
Что скажут люди, жители, торговцы?
Как кажется, панове судьи, вам?

Поднялся Искра, полковой обозный,
сын Остряницы Якова, Иван.

(Погибнет тоже он, в зените славы,
почти что сразу после Пушкаря,
в дороге к уничтоженной Полтаве,
с посольства у московского царя).

Весь бледный, под глазами чёрное.
- Хочу сказать вам, люди, кое-что.
Так много слов здесь страшных наговорено.
Про главное не говорил никто.

Я, может, сумасшедшим вам кажусь.
Мы с вами люди разного коша.
Не просто эта девушка – Маруся,
она наш голос, песня и душа.
Когда в поход отправилась батава,
её слезами плакала Полтава.

Что было нам так нужно на войне?
Знамёна, сабли. Песни же - вдвойне!

Победы наши, муки и руины
бессмертны будут все в её словах.
Она ж была как голос Украины,
его печать - на наших хоругвах!

А вы хотите подыскать ей кару.
Немая с горя. Отобрало речь.
Людей такого редкостного дара
должны мы хоть немного поберечь!

Закон суров. И я его не рушу.
От этой боли разве легче вам?
Маруся в песнях изливала душу,
и эти песни оставляет нам.

Лишь приговор - и кончится расправа.
И славный род прервётся – Чураёв.
А как же будет петь тогда Полтава?
А слёзы не задушат ли её?

И стало тихо, как на страшный суд.
Горбань сказал:
- При чём же песни тут?
Ей не за песни кара уготована,
и извините, есть слушок, хи-хи,
свидетель лично заинтересованный.
Сама ответит за свои грехи.

Тогда мы, суд, с почтенными особами,
последнее решили дать ей слово,-
грызёт ли за содеянное совесть.
И перед приговорным оглашеньем
уронит хоть слезинку в искупленье?

Убийца глаз слезами не росила,
и милосердия не попросила.

Сокрытое учтя и несокрытое,
и меж собой советуясь не раз,
кондициями права Посполитого
мы огласили приговор – наказ:

Мы, суд, склоняясь к фактам голым,
убийцу нарекаем Богу грешною.
Должна принять карание на горло.
На виселице, значит, быть повешена.

И людям то почтенным объявляем,
и вписываем в книгу на века.
Декрет печатью городской скрепляем.
И подпись есть: судейская рука.

ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК ВЫХОДИТ НА ЗАРЕ

Раздел 2
В багряном солнце мостик золотавый
стоит над черным контуром горы.
На пять ворот закрытая Полтава
роняет тихо очи в яворы.

Слетает вечер - осторожно, томно,
тревожит звёзды в темноте криниц.
Страж топает по валу городскому,
и совы спят на вырезах бойниц.

Слеженье над Куриловскою Брамой.
«Следи! Следи!» - от Киевских ворот.
Уже стоят возы под яворами.
Полтавский полк готовится в поход.

Кормите лошадей. Далёко едем.
Благословенье взять у матерей.
А что там будет, смерть или победа, -
полтавский полк выходит на заре!

Там бой гремит. Там гибнет наша воля.
Там надо рук, оружия, плечей.
И речи нет об одинокой доле,
лишь тихий стон в безмолвии ночей.

Звезда-огонь по небу пролетала,
сычи кричали, вестники беды.
На сто ладов задумалась Полтава,
склоняя косы вербы до воды.

Был правый суд. Свидетели опрошены.
Есть приговор. За что себя корить?

…Молчит Полтава, словно огорошена.
Перехотелось людям говорить.

А что же делать, времена кровавы.
Не стоит жить. Ну, там, казнят кого.
Промчался всадник по немой Полтаве -
и сжался город от копыт его.

Вечерний ветер с шелестом неровным
шатает бархат синей тишины.
Лишь конский топот беспокойно-стройный
за рвом услышит сторож у стены.

Исчезнет дальний всадник за туманом,
и сторож вслед поцокает ему.
Он смел. А кличут Искрою Иваном.
Ему сегодня хуже, чем кому.

Уже он там, за длинною верстою,
и ветер муку унесёт с лица.
Что ж, горе горем, а война войною.
Послал полковник к гетьману гонца.

Слеженье над Куриловскою Брамой.
«Следи! Следи! - от Киевских ворот.
Уже стоят возы под яворами,
полтавский полк готовится в поход.

Коней кормите! В путь им далеченько:
дух знамени недаром славе дан!
Полтава! Рано встанут козаченьки,
и ты коснёшься с плачем их стремян.
Раненько-рано встанут с полуночи.
За них, Полтава, молишься всегда.
И карие не смочит только очи
слезой Марусенька. А помнишь, как тогда?..

ИСПОВЕДЬ

Раздел 3

…А жизнь прошла. Не очень даже трудно.
Лишь от позора можно онеметь.
Последние деньки уж перебуду,
а там конец. Переночую в смерть.

Какие в жизни у меня дела?
Земная суета уже прошла.
Последние решенья настают.
Идти туда, куда меня ведут, -
отбыть скорее, всё скорей отбыть,
и чтоб не быть, уже совсем не быть!

Три дня даны на думы для меня.
Зачем же нужно смертникам три дня?

И разве держит их на свете плоть?
Ведь призрак не удержишь на цепи.
Вон что-то вроде возится в лохмотьях…
Здесь пол от мыслей грешников скрипит.
А сколько здесь злодеев самых разных
уже сидело в ожиданье казни?..
Наверное, вот так же им (как знать?)
не очень-то хотелось умирать?

Ну что ж, своё отбыли вы, счастливцы.
Не обошли, что было суждено.
Конечно, тут сидели и убийцы, -
построена тюрьма уже давно.

Прилягу, что ж, - усталость опьяняет.
За столько дней, за столько долгих лет!
А старую солому тут меняют
на свежую?
А часто или нет?

Да мне такая смена и не снится.
Ведь я убийца. Я убила Гриця.

И вот за то мне и расплата:
из камня - каменная хата.
Кожух… Солома… Постелюсь…
Хоть полежу… Во тьму всмотрюсь…

…А я заснула, Господи. Заснула!
И сладким сном - хоть раз за много дней!
Да так заснула, точно утонула.
Хорошее приснилось что-то мне…
Проснулась, и никак не разберусь я:
чего мне,
кто убийца,
кто Маруся?

И от себя далёко обретаюсь,

принёс меня как будто только аист
и положил на мальвах и барвинках,
на тех росистых утренних тропинках.
Малюсенькою крошкой просыпаюсь,
и каждый день с зарёю начинаюсь.

Так сладко млею… рядом бледный лучик…
Жить хорошо… мечтать себе о лучшем…

Но сон прошёл, растаял. И отчаянье
вдруг обожгло сознание случайно…
Возникло слово страшное: НЕУЖТО?
Душа болит, а тело - боли чуждо.

На ощупь, тихо с пола поднялась
и в две косы небрежно заплелась.
Всё так, как есть. Одна. Обречена.
Стена, стена. Решетка. И стена.

…А уж светает. Грустно, грустно, грустно
лик солнца в небесах сейчас взойдёт.
Там кони ржут, труба поёт искусно:
полтавский полк отправится в поход.

Что ж, в добрый час. Опять труба звучала.
Литавры бьют как в ту, другую жизнь.
Душа рванулась - у окна застряла,
прозрачно руки с прутьями сплелись.

Далёкий гул проник сюда, в каморку,
и пыль гоняет ветер, как в бреду.
Впервые, Гриць мой! Лишь впервые только
тебя, родной, в поход не проведу!

Ой, льются слёзы матерей, ой, льются!
Печаль святая, но без горькоты:
погибнут хлопцы, так хотя б по-людски;
а как же сгинул, как же умер ты?!

Огня и грома будет всем в достатке,
всего там будет в клёкоте дорог.
Навеки лёг ты на погосте старом, -
на нём из казаков никто не лёг.

Прощально звёзды в небе догорают.
За столько лет впервые - слышно, вот! -
и кони ржут, и трубы вам играют,
а ты, Григорий, не идешь в поход.

…Уж, верно, и молебен отслужили,
так затужили звоны, затужили! Рыданье звоны в небе понесли -
то за ворота хлопцев провели.

И полк выходит - далеко за гоны.
Кому-то тополь станет в головах.
И слышно звоны, слышно, слышно звоны
по всей Полтаве и по всех церквях!

Закрою уши, слышно сквозь ладони
ту крохотную церковь в бастионе,
и тот соборный величавый звон,
всё зарыдало хлопцам горю в тон….

И даже эта - нет, да отзовется;
тюремной церкви голос – и сюда!
Она в Полтаве хорошо зовётся:
«Для всех Скорбящих Радости». Ну да.

Для всех Скорбящих Радость… Непременно.

И что меня всё больше веселит, -
всю душу истерзала мне измена,
теперь душа как будто не болит.
Уже ничто на свете ей не в жалость.
Мне так легко, я чуть ли не смеюсь.
Свобода для меня в тюрьме осталась,
и ничего я больше не боюсь.

Колокола по небу звон катают.
И, кажется, что землю расшатают.
И тут, и там, и где-то на горе
далёко звоны бьют в монастыре.

И где-то толпы, толпы. Там же люди!
А звёзды в небе – чистота. Обман.
И жёны падают мужьям на груди,
и дети руки тянут до стремян.

Невеста плачет у дороги страстной.
Там вышли все - от деток до калек.
И только я сегодня непричастна,
мешаю людям на своей земле.

…А полк идёт. Печали нет и места.
Другой хорунжий стал под хоругву.
И нету только Гриця. Так нечестно!
А я жива… Зачем ещё живу?!

А путь слезами женщины омыли.
А Гриць лежит, он сгинул просто так.
Или ему хотя б флажок прибили
там, на кресте, чтоб видели: козак…

Промчались кони от моей темницы.
Копыта бьют там около ворот.
Впервые, Грицю, ой, впервые, Грицю,
выходит полк без песни в тот поход!

Всё тише, тише… Трубы не играют…
Шум отдалился… Звоны замирают…

Прощайте, хлопцы. Бейтесь хорошо.
Ведь я вам песен не сложу ещё.

* * *

…Вторая ночь. А сна - ни на мгновенье,
покой на диво! Будто там я, да.
Воспоминанья в слёзном омовенье
пришли прощаться с жизнью навсегда.

Привиделись те ночи на Купала:
как щедро небо звёзды зажигало.
Бездонно небо, бесконечен свет.
А нам всего по восемнадцать лет.
Ещё несмелые, и так дрожат уста.
И до утра - лишь ночь и высота.

Ещё пригрезилось - то колесо огня
с горы в долину прямо на меня.
Обкручено соломою, летит,
и на ветру огонь гудит, гудит!
И, разбросавши щедро искры прочь,
обугленное, пропадает в ночь…

Уже девчата в юбках, при намысте.
Венки пускать в течение пора.

Уже гадают, кто о ком помыслил.
А хлопцы сносят хворост для костра.

Плывут венки, и мой - плывет, не тонет.
А сердце лишь поёт, ещё не стонет,
таким пою чудесным голоском!
Снимают черти звёзды рогачами…
Венок плывёт, исчезнув за ночами…
Его прибило, может, меж корчами,
или лежит, придавленный песком?..

А после - как сломалось вдруг весло,
и подхватило душу, понесло,
и закрутило там, в круговороте!..
…Тогда остановиться бы летам,
душа жила бы в детстве, как в полёте,
ведь ей тепло на свете только там.

…Под вечер часто лущили фасоль мы,
а Гриць - по огороду, и на нас.
Прощально небо светится красою,
подсолнухи гудят, как контрабас.

Тихонько осень ходит берегами,
верба листвою рыжею трясёт.
А Гриць листочки тянет за ногами,
идёт, малютка, топает, идёт…

Такой он был хорошенький мальчонка.
И ласковый. Похожий на телёнка.
Немножко шкодный, да чего уж там.
И всё сбивал верхушечки цветам.
Нам всё казалось: вместе всюду лучше.
Ныряем в речку. Лазаем по кручам.

То травы ищем, то пасём корову,
играем то в горелки, то в квача,
а длинною зимою вечеровой
начешем конской шерсти для мяча.

Мы с Гришею ходили малышами
в Галерникову балку, к деду, сами.
Он там живёт в степи, за ветряками,
совсем один, отвык и говорить.
И лишь дымок от курева – годами:
любил тот дед присесть и покурить.

Там у него и заросли малинки,
есть тайные дорожки и тропинки,
и ульев много, в жёлобе - водичка,
и есть вплетённый в вербы живоплёт.
А хата так мала, как рукавичка.
В ней кот, сверчок и старый дед живёт.

А дед такой старинный, полотняный,
и борода седая, словно дым.
Рассказывал про Кафу, полонянок,
и про походы: где, куда ходил.

Нам говорил, что мы ему как внуки.
Родных Бог не дал - не было поры.
В галерных шрамах старенькие руки
выстругивали «лодки» из коры…

А то - щедруем. Малой кучкой ходим
и голосами тонкими выводим:
«Ой на речке, на Йордани,
там Пречистая стирала…»

На Ворскле крест как вырубят - морозят,
зальют водою и на лёд присадят.
Старухи-вербы облегченья просят -
стеклянные бирюльки вниз бросают.

А санки - с горки, и мелькают платья.
Рябит в глазах, мы ж на подъём легки.
Уже давно похоронили батьку -
сама мне мама сделала коньки.

И белым вихрем снег кружит весёлый,
как нас по склону сани растрясут.
И - наутёк зима, поднявши полы,
когда поют, с хоругвями идут.

Идут Бобренки, Гуки, Шибилисты,
бредёт в снегах и дьякон-бородань.
А поп, гортанью громкий и басистый,
на Ворскле речку делает Йордань.

Вдруг - врассыпную галки иль вороны,
от бабьих шуб толпа ещё рябей.
И малый Гриць, от холода дублёный,
из пазухи пускает голубей.

Трепещет стяг нерукотворным Спасом,
вода святая в лёд негромко бьёт.
И крест, облитый буряковым квасом,
под белым солнцем искры раздаёт.

Вода святая - гущею налита.
со льдом куда-то всё плывёт, плывёт…
Спрошу у мамы: если окропить той
водою раны, батька оживёт?

…Я не забуду то, что вы мне дали.
Спасибо, тату. Голод и зима,
но в школу вы меня тогда отдали, -
мне дал дьячок и чтенья, и письма.

Казачья школа - кое-как покрыта,
не стены, а плетёная лоза,
на пол-окошка снегом перевита,
три лавки, стол, псалтырь и образа.

Аз-буки-веди… Что тогда я ведала?
Не поняла глубинности письма.
А шла домой - так снегом пообедала.
Аз-буки-веди… Голод и зима.

А двери за ночь примерзали в сенях.
В углу давно забыты рогачи.
Перелузгали зиму, словно семечки,
вдвоем одни на той таки печи.

…Про батьку вести не было с полгода.
Кузьма с Демьяном где-то разминулись.
Домой, в Полтаву, из того похода
пока живые люди не вернулись.

Ходили слухи, что Павлюк не выждал,
и что Кумейки - то кровавый снег.
И тот, кто сдался, только тот и выжил.
Отец не мог. Ведь был он не из тех.

Он гордым был. Гордеем так и звался.
Он рыцарь был, хоть из простых селян.
Стоял он насмерть. Никогда б не сдался.
Его свои - скрутили под обман.

И с Павлюка живьем содрали кожу,
с ним четверых старшин убив тогда.
Такая смерть - в сравненьи с карой Божьей
страшнее найстрашнейшего суда!.

А после - эти головы на кольях
повыставляли в полковых местах,
людей согнав. Мать пережила столько,
что крики замерзали на устах.

А смерть всё кружит, всё кружит, всё кружит,
Кружит, где люди казнённые.
Наносит белого снега
в глаза его заметённые.
А я ничего не вижу…
такая в глазах метелица…
кружится, кружится, кружится;
так страшно, что даже не верится.
Танцует, хищница пьяная,
и льдистыми серёжками трясёт,
Как голову кровавую Иоанна
над белым светом Ироду несёт…

И много лет, когда зиме - пора,
печальны были в праздник вечера.
Незримо тень отцова рядом с нами
колядником стояла за дверями:
«То ли есть, то ли нет,
пан-хозяин дома?»
И память об этом в отчаянье
головой на руки упала.

* * *

Как шёл кобзарь у нас через Полтаву,
ну, обступили, просят, что кому, -
тот про сиротку, тот про нашу славу,
тот про Азов, а тот про Кодыму.

И я стою. Вот так стояла с краю.
А он всё пел невольничьи плачи.
И вдруг я слышу: «Орлику… Чураю!»
Я онемела. «Орлику… Чураю!»
Как я тогда наплакалась в ночи!

Всё слышалось мне: «Орлику, Чураю,
Ой, забили тебя ляхи да в своём крае!»

Всё думала: чего ж я не спросила,
кто про него сложил, про этот край.
По нём, родному, столько голосила,
а вот теперь он – Орлик, он - Чурай.

Теперь он с нами в радости и в горе.
Смекнуло сердце до конца моё:
пошёл он в смерть - вернулся в думе вскоре,
никто его не тронет, не убьёт.

Тогда в те дни, случайно и несмело,
хоть песню уж сложила не одну,
впервые слово тронула, задела,
как приласкал кобзарь свою струну.

…Жизнь уплыла, как листья за водою,
и вспомнила я маму молодою.

Была она когда-то молодая,
престранная, скажу, на общий вкус.
Бывало, слёзы в очи набегают,
она ж смеётся уголками уст.
Лицо такое иль уже привычка.
А голосочек! – чистый, как хрусталь.
Красивая такая молодичка.
Уста смеются, а в глазах печаль.

Она и мне сказала:
- Как ни будет,
ты не скули; большой позор и стыд.
Задушат слёзы - не иди на люди.
Болит душа - не выявляй на вид.

В тот час, когда случилось горе с нами, -
когда пришлось ей, бедной, овдоветь,
так хлопцы и ходили табунами,
хоть издали на маму посмотреть.

И батька удалой был, то, что надо.
А что уж сильный - точно нету лучше.
Свела судьба их, будто бы в награду,
за то, что чистые имели души.

Бывало, диву я даюсь: «Ой, мама,
какой же он хороший!» - или вновь:
«Как вырасту, чтоб мне - такой же самый,
чтоб мне была такая же любовь!»

…Ну вот, я выросла.
Ловлю себя на слове.
Ну как, Маруся? Тот? И полюбил?
Особенная я, дитя любви.
Мне без неё и белый свет не мил.

Любви моей огромная потребность -
так кару для меня придумать злей!
Ведь я касалась головою неба,
а он ходил ногами по земле.

Весёлый, он намучился со мною,
ведь я была печальною такою.
За мною, как за чёрным горизонтом,
он - ласковый, растерянный, не злобный.

Он звал меня, а я не отозвалась.
Запутался – сказала: выбирай.
И на две части сердце разорвалось,
ведь он Бобренко. Он же не Чурай.

Чурай, тот так: свою увидел долю -
вот ты, вот я, теперь нас будет двое.
Что у меня и стены голы, -
повесим палки мы взамен пистоли
и коврик с дыркою. И в шалаше
с тобою хорошо моей душе.
Но Гриць был не с такою головою:
- Что, в кучу нищету да с нищетою?
Богатому сам чёрт детей колышет,
а бедному и ангел не родня.
А если землю мать нам не отпишет?
Да надо бы скопить и на коня.
Подумать должен я и про копейку,
И свадьбу должен справить я, ну да.
То ж был один - теперь нам жить семейно.

Не выдержала мать моя тогда:
- Да что ты всё:

я должен, надо, надо?!
Земля, земля… А небо где твоё?
Разносишь душу без сердечной правды,
без совести оставишь ты её.

А он пришёл тогда из Берестечка.
Утрата страшная нам души всем пекла.
Ворчлив он стал на каждое словечко.
И дума горькая не падала с чела.

Он редко приходил, и видно: тужит.
Всё курит, вечно трубка на губе.
Такой он стал, что не заглянешь в душу.
Чужой какой-то, - мне или себе?

- Нас счастье красть судьба опять толкает,
детей нам, слава Богу, не даёт,
пока что эту свадьбу отменяет.
Что делать, милая? Такое вот житьё.

Плохое лето, урожай убогий,
а нужно сапоги, а к ним – кожух.
А мать я уважаю больше Бога,
и поперёк ей слова не скажу.

Бобренчиха всё хмурилась, молчала.
Совсем из дома Гриця не пускала.

А встретила мою - там, у криницы:
про дождь, про гром, про курицу, бычка.
Что добрый гетьман был из Остряницы,
хозяин хоть куда из Вишняка.
Что время мчится, надо как-то жить.
Любовь любовью, жизнь, однако, - тяжесть.
Пора б уже детей переженить.
И наконец-то объявила важно:

- Когда б ты Бога хорошо просила,
имела б радость на свои года:
твоя пошла б за гетьманского сына,
мой - Вишняковну сватал бы тогда.

А мать – ни слова. Только начала
ухаживать за мной, как за больною.
Смотрю: и в церковь, старая, пошла
путём не тем, дорогой окружною.

Спросила:
- Мама, кто же вас допёк,
что ходите не тою стороною?
- Тропинку обойду по правый бок
и окроплю свячёною водою!

- Чего ж вы, мама, Гриця невзлюбили?
Какие мысли мучат вас уже?
- Слепыми б лучше очи мои были -
у хлопца так раздвоилось в душе!-

- Не верьте! Гриць - он честный, не бездельник.
Мы вместе с ним навечно пред людьми.
- Марусенька, у них без счёту - денег.
То ж Вишняки, ты, доченька, пойми.

- Но то же Гриць. И Я. Мы вместе с Грицем.
На белом свете он такой один.
Он, мама, гордый. Он козак. Он рыцарь.
И что ему те деньги, мама? Дым.
А разве наш отец лелеял гроши?
Хоть талер в щёлку спрятал от кого?

Вы разве не были в Золотоноше
единое богатство для него?

- Ой, не равняй! Чужой язык - ботало.
Отца уж нет, а жизнь вперёд бежит.
Такие всех первее умирают.
А Гриць Бобренко - этим только жить.

А я как будто не слыхала
и утешалась так сперва.
Но всё-таки душа вещала,
что правда - все её слова.

Кого дождалась? Юношу иль воина?
Что ж не идёт? Казалось мне тогда:
моя любовь, прогоркло-перестояна,
наверно, душу выжжет навсегда.

Я так боялась всякой грязи гадкой!
Гудели мысли роем, не унять.
Ну, ничего, уж перебуду как-то.
Да только что же матери сказать?!

А мать всё знала. Мать уже всё знала.
Плетёт несчастье слухи, как паук.
Не попрекала и не вспоминала;
а только лишь валилось всё из рук.

Лишь раз в отчаянье вскричала горько:
- Да, рыцарей полно у нас в краю!
О Боже, на кого ж, Маруся, только
ты молодость потратила свою?!

…И мне тогда как будто легче стало.
Переболела в муках. Хватит, бесполезно.
И останавливать я Гриця перестала.
Хожу, шатаюсь как после болезни.
И хоть бы злость, ведь он врагом мне стал, -
нет ничего. Провалы. Пустота.

Уже жалела я его, клянусь.
Нет-нет, да в мыслях Гале повинюсь:
- А, может быть, так лучше нам обоим.
Мы, Галя, разве недруги с тобою?

Ты Вишняковна. Род у вас навек.
Таких родов немного есть в Полтаве.
Отец твой, Галя, важный человек.
Его супруга ходит в златоглаве.

Он не какой-то. Сам себе Вишняк.
Виски его серебряны по праву.
Бывает так, что слава за пустяк.
Ему же - за большие деньги слава.

Добро само к нему во двор теперь,
и сад густой, и ниву щедро сеет.
Ведь он не кровопийца и не зверь,
а только задарма он взять умеет.

Он пригибает воды и поля,
всегда он в церкви при любой субботе.
Кто - за Богдана, кто - за короля.
А он - за тех, которые не против.

Как он умеет красно говорить!
Есть у него и поймища, и луки!
Вся Украина пламенем горит,
он и на том нагреть сумеет руки.

Где надо, вовремя утишит гнев.
Где надо, правды половину скажет.
Счастливый дар. Отец так не умел.
И дрался он, пока при смерти ляжет.

А тот прищурит сеточки у век,
всё взвесит, вовремя попятит задом.
Твой батька, Галя, мудрый человек.
А только это, может, так и надо:
при всяких размышлениях и боли
не заболел Вишняк и не зачах.
И Чураевы головы - на кольях,
а Вишняковы - крепко на плечах.

Вишняк всё выше, вышё поднимался,
Вишнячка - та ещё быстрее - вширь.
Приданый список щедро составлялся,
а Бог на небе нам судьбу вершил.

Они далёко жили, за Раскатом,
там где-то рядом - Задыхальный Яр.
У них криница под козырным скатом,
большая хата окнами в базар.

Дожди под хатой лужи наливают -
стоят хоромы в меленькой воде,
и в этих лужах важно проплывают
такие гуси, больше лебедей.

Хозяйка - основательна боками,
а Галя трусит коврики с коврами.

И вид один у матери и дочки -
две жирные хорошенькие квочки.

Мягки и пухлы рученьки у Гали,
сияньем белым - у косы пушок,
репейно глазки зелени набрали
и пышно губки сложены в кружок.
Глухая к песне, подпоёт - напортит.
Подушки вышивает всё звездой.
Замолкнет - ничего, а рот откроет,
так остры зубки – суслик молодой.

На люди выйдет, приподнимет бровки,
стрельнёт глазами, на бочок - рука.
А на сапожках - медные подковки,
зелёный верх, козловые бока.

И снится всем - приданое горою,
ковры, сараи, сундуки, возы.
И ласковые свахи ходят роем,
а сверху Галя катит гарбузы…

А, может, я несправедлива к ней?
И козаку - жену такую для здоровья?
От печи - к огороду, от коней - и до свиней,
к совету, к слову, по ночам - с любовью?
Такую мягенькую, тёплую, как переспелую грушу,
чтоб только смотрела в глаза без лишних вопросов.
Когда принесёт муж домой оплёвану душу,
то к ранам - жена, подорожником, смоченным в росах.
У ней там и дом как не дом, а придаток рая,
У ней - пустоты на двоих, у него голова -
полон ларь.
И, может, на людях он - так, никакой и с краю,
зато, как придёт домой, для жены он и Бог, и царь.
На неё можно крикнуть, а можно побить в охоту.

И она всё простит, приголубит, рассолу ему внесёт.
А меня лишь любить. Он устал. Это тоже работа.
А там нужно жениться. Вот так, женился - и всё.
Дай же, Боже, вам счастья. Подковой прибейте печали.

Ни о чём не тужите, Гриць. Ведь проходит всё, словно сон.
Обо мне же - ни просто так, ни случайно,
ни хорошим, ни горьким не молви ни с кем словцом.

…Нет зла к тебе, и я не ссорюсь с нею.
Так вышло. Я теперь совсем одна.
Из церкви как-то шла на Маковея,
и засмеялась мне вослед она.

Девчата все с цветами, при нарядах.
Я - мимо, «добрый день» сказав для всех.
И вдруг из этой кучки, где-то сзади,
мне прямо в спину прокатился смех.

Я всё же шла. Подкашивались ноги.
Её тихонько кто-то пристыдил.
Я шла и шла, не видела дороги.
Тот смех как ножик в спину угодил.

Её лицо сияло, как полушка.
И сердце пёк мне стыд, как тяжкий грех.
Она ж ребёнок, глупая телушка,
прости ей, Боже, неразумный смех!

Верни стократным эхом через годы.
При ней я в слёзы не излила стыд.
Река сомкнула надо мною воды
у берега, где мельница стоит…

Братец добрый, названый Иваном!
Что же спас меня тогда? Беда…
Говорят, есть где-то за лиманом
море - бесконечная вода.

Говорят, оно - зелёно-синее,
больше, чем наш Днепр и чем Дунай.
То не Ворскла, а большая сила.
Не отыщешь, сколько не ныряй.

Вот заплыть - стать точечкой простою,
так зайти, чтоб море - по уста.
Ведь оно умеет успокоить,
и тебе ни гроба, ни креста.
А над морем, -
там же ни вороны.
Чайка - и свободна, и горда.
И оплачет - ведь оно солёное,
и обмоет - ведь оно вода…

Ты не бойся, не горячка вроде.
День прошёл, иль, может, даже два?
Меж корнями раки раком ходят,
и мелькает стайками плотва.

Нажилась я мукою земною,
Утонуть - да кинуться куда?
Что ж ты ходишь сторожем за мною?
Что ж не приняла меня вода?

Я хотела от души напиться,
Духота, что только пить и пить!
Вовсе я не думала топиться,
только боль хотела утопить.

Братец милый, названый Иваном!
Помни, славный, что любовь - беда.
Говорят, есть где-то за лиманом
море - бесконечная вода.

Зачем воспоминания без счёта? -
немых камней безрадостная жуть.
Душа и тут нашла себе работу,
а нет того, чтоб сесть и отдохнуть.

Но как вспомню, Боже, всё до стона,
печаль такую в сердце с места строну! -
ту нашу ночь, ту нежность, сладкий пыл,
всё то, что он тогда мне говорил.
Те поцелуи, что так жгли огнём, -
они теперь на мне горят клеймом.

О, как тогда мы были беззаботны!
Какой же пылкий, ласковый он был!
Уже в Полтаве набирали сотни,
Хмельницкий подготовку объявил.

Давно копыта отстучали,
уже пропал за ними след,
уже девчата докучали:
что ожидаешь столько лет?
Смотри, какая жизнь настала,
ведь лет не остановишь гон.
Ты будешь девка-перестарок,
когда с войны вернётся он.

Но боль я песней утешаю.
Сидим, бывало, вечер уж придёт, -
задумаюсь, затихну, зарыдаю:
печаль сама мелодию ведёт.
«Повей, ветер буйный, откуда тебя прошу.
Развей, ветер, тоску горькую,
что на сердце ношу!»

А вечер долгий, вьюга будет к ночи.
Девчата говорят про то, про сё.
Я в разговоре, так сказать, не очень.
А в песне выпеть я умею всё.

И пелось, пелось… Всё не возвращались
те, что в поход ушли при полуночи.
Слова на голос сами собирались,
как слёзы собираются на очи.

…Мартын Пушкарь в Полтаву отпустил
в пятидесятом полтавчан году,
чтоб каждый воин дома погостил,
но только чтобы с саблей на виду.

А времена горьки и лиховестны.
Как тучи в небе, кучилась война.
Любовь же наша начиналась с песни,
могла порваться только как струна.

Любили мы, не прятались. Не стоит.
Душа, бывало, песнями звенит.
И что-то было в той любви святое,
такое, что никто не осквернит.
И друг на друге свет сошёлся клином, -
лишь до зари в объятиях стоять.
Печальным матерям то было зримо,
всё знали, - слова не могли сказать.

Спрошу, бывало:

- Ну чего вы, мама?
Он вам как сын. Теперь он будет зять.
… У мамы очи, будто за туманом.
Так, как не всё хотела бы сказать.

Печалилась, на то была и мама:
- Мне что, а только б лучше было вам.

К нам зачастил при времени том самом
сын Остряницы Якова, Иван.

То в монастырь с полковником проедет,
заглянет в хату, спросит, где вода.
Проведать я ходила как-то деда
Галерника,- и он пришёл туда.

Немного посидел и вышел молча.
Такой суровый, очи словно лёд.
Красавец был мой Гриць, глаза - терночки.
А тот молчит и всё бледнеет, вот.

А скажет что, - из памяти не выкинешь.
Молчал всегда, не щедрый на слова.
Лицо такое, сразу не привыкнешь, -
так резок меч, так тонка тетива.

В глазах такое, что не разумею.
Приходят мысли странные, маня:
против меня он что-нибудь имеет,
иль, может, ненавидит он меня?

Да пусть себе. Молчанья не нарушу.
И избегаю. Встречу, как идёт, -
ударит вроде молнией мне в душу
и вновь спокойно очи отведёт.

- Тебя он любит, - девушки кивают.
А я в ответ:
- Да ну его, чудной.
А Гриць, бывало, сердится, вздыхает.
- Он хитрый, - говорит. - И потайной.

По правде, ведь его не любят наши.
Чванливый очень и челом не бьёт.
Без меры гордый. С ним не сваришь каши.
Всегда молчит и думает своё.

Гриць был другой. Правдива ли причина,
что так открыто он на мир смотрел?
Так это, милый, что, - была личина?
Когда ж припрятать душу ты успел?

Я не о том – женился, не женился,
Пришёл, ушёл, забыл иль не забыл.
Скажи, скажи, когда так изменился?
А может, ты таким и раньше был?

Прозренья боль, пекущая бескровно!
Кто ж так еще себя запутать даст?
Он для меня, иль я ему - неровня.
Неровня душ - похуже, чем богатств!

* * *

Мы с поля шли. И шмель гудел свободный.
Был месяц май, и цвету без числа,
когда навстречу Галя на подводе.

Гриць говорит:
- Гляди, как подросла.

Что время быстро пятками мелькает,
я на кровавой позабыл меже.
Была она, как мышка, никакая,
а вот смотри - на выданье уже.

А Галю ветер ленточкой щекочет.
А воз высокий, словно тополя.
- Вот это воз! - смеялся. - Не доскочешь.
Хозяйка, пава! Стелется земля!

Тут пылью нас окутало. И в пояс
кленочек поклонился, закивал.
А Гриць идёт, и только мысли - в голос:
- За все лета где я не побывал?

Был на Пиляве и на Желтых Водах,
под Корсунем и Збаражем был тож.
Который год, а я опять в походах.
А ты всё ждёшь, бедняжечка, всё ждёшь.

А я всё жду. Бедняжка? Удивительно…
Не надо, Грицю, дума велика.
Ведь жду я не кого-нибудь, а мстителя.
Да, рыцаря я жду и козака.

Бесславны все домашние бездарности.
И не тревожься, мой родной, сейчас…
- А что же мы тебе из благодарности? -
так молвила Бобренчиха не раз.

А дни мелькали. Гуд по трубам грозный.
И нам давно прошёл двадцатый год.
Оно уже жениться вроде поздно.
К тому ж тебе опять пора в поход.

Совсем не говорили слов.
А он, в предчувствии разлуки,
повёл, обняв за плечи, вновь
под тополей кривые руки.

И одиноки, как на дне, -
такая нас печаль связала…
Надорвалась душа во мне,
и я ему тогда сказала:

- Погибнешь если, - буду я вдовою.
Ты любишь меньше, - это всё равно.
Уже мы, милый, как одно с тобою,
так пусть и телом будем мы – одно.

Его я целовала оченьки,
покуда месяц не погас.
О ты, счастливейшая ноченька,
ужель последняя у нас?..

Привязала баклагу ему у седла.
Недалёко, всего до ворот, провела.
Ну, так кто ж я ему? Не сестра, не жена.
Засмеюсь я при всех, а заплачу одна.

А про меня сложили наговоры.
Тоскливые тянулись вечера.
Да так всегда, ведь горе липнет к горю,
крутое и большое, как гора.

Теперь не пелось. И слова не там уж.

В них притаилась смутная беда.
Повыходили все подруги замуж,
и не зовут за дружку, как тогда.

А потому, что стала как черница.
Мне славить ли невесту молоду?
Куда уж там ходить на вечерницы,
коль я и в церковь чуть жива иду?

А люди сплетни выдумают сами.
И что им горе, эти времена?..
Сквозь очи, как ободрана шипами
до самой крови. И совсем одна.

А суд, а суд! Я что же - хуже вора?
Послушайте, ведь это не моё!
Стою, как будто у столба позора,
и кто захочет, тот и оплюёт.

И дремлют любопытные, как мухи,
Горбань зудит занудным комаром.
Дурные сплетни тётки-лепетухи -
на душу дёгтя целое ведро.

От слов таких на землю мёртвой падать,
как будто оголили на виду.
Людцы, гиены, жадные на падаль,
как вороны, слетелись на беду!

…Хотя б заснуть… Но нет, уже не спалось…
Душа на свет с печалью осыпалась.
Нашла я всё, что памятью зовется:
и хату нашу, чистый сруб колодца,
и ласточкино гнёздышко под крышей,
где ветер счастье тихое колышет.

Тот берег наш, травой заросший летом,
наш двор, осенний журавлиный мост,
где на гнезде с вербовым минаретом
почтенный аист молится до звёзд.

А после утром вылетает. Весел.
Осталась аистиха в этаже.
И вдруг - для крыльев малый дворик тесен:
то аистята выросли уже.

Гнездо - малютка, по ноге поставят.
Под осень всё семейство примет вид.
А осенью как крылья все расправят -
трепещет хата. Кажется, взлетит.

А мне всё жаль чего-то за дождями,
за яблоневым цветом, за хрущами,
за солнцем, за цветами, за травой, -
весь белый свет, пахучий и живой.

Мне кажется, листочки б целовала,
и на цветке б заснула, как пчела…
Всё лучшее себе навспоминала,
немножко человеком побыла.

В темницу утро залетело с ветром,
прохладой пробежало по рукам,
острог печальный наполняя светом.
Лишь притаилась темень по углам.

Там Хо сидит, пуглив, хотя и ласков,
комочком мрака, призраком мольбы.
Мой крошка Хо из милой детской сказки,

зверушка или чёртик, может быть.

Теперь - ты мой дружок, ручной и дикий.
Иль, может, ты со мной пойдешь ТУДА?
Не надо, Хо. Там холодно. Иди-ка,
ты хочешь пить? Вон, в кружке есть вода.

Иди, не бойся. Выпьем по глоточку.
Сегодня вторник? Или нет, среда?
Хо шевелится в тёмном уголочке…
Какая в кружке затхлая вода!

На прут решётки - усик вьётся сдуру.
Куда ж он, глупый, в тёмную дыру?
Вошёл тюремщик, узелок мне сунул,
а что он пробурчал - не разберу.

Кто ж передал? О том спросить не смела.
От этой боли разум онемел.
Мну краешек платочка белый-белый.
Вот это да, тюремщик пожалел.

Ну вот, имею хоть какую радость,
хоть маленькая весточка пришла.
Те яблочки из маминого сада!
Родименькая, пирожки пекла…

Как там она? Теперь как будет жить-то?
Пустая хата, опустелый двор…
Разваленный хлевец, соломою покрытый…
Печальный аист молится до зорь.
Цветет спорыш, дорожка зарастает.
Тому двору не надобно ворот.
Ромен мережкой жёлтой доцветает,
и мак, как королевский герб, цветёт.
Да, всё цветёт и кланяется лету.
Медами пахнет древняя гора.
И средь всего земного буйноцвета -
она одна, согнута и стара.
Сюда уж никому не возвращаться.
И хата сгинет… Я-то не приду…
И только пчёлы истово роятся,
по монастырскому всему гудят саду.

Тот монастырь недавно подымали.
Там звоны есть, такие голоса!
Его Пушкарь с Иваном опекали,
а раньше были здесь леса, леса.
Ещё я помню, на горе, над нами, -
так много коз ходило табунами.

Победно туры там весной ревели,
мышей летучих - только рябь в очах!
А филины, пугая даже смелых,
«Пу-гу! Пу-гу!», - кричали по ночам.

Но проложили по лесу дорогу,
и потянулись кони и волы.
Стояли и смотрели мы с порога -
привыкнуть долго к шуму не могли.

И были люди те неугомонны.
Там вербы подставлялись под топор,
под ноги пуща падала с поклоном.
И всё свозили в монастырский двор.

Вот так навек прижился он на скалах, -
могучий монастырь о трех главах.
И очи монастырских келий старых

глядят на Кривохатки в бурьянах.

Там хаты стары - нечем похвалиться.
Дворы похожи больше на пустырь.
Там выпало трем семьям поселиться,
и те работали на монастырь.

А были хороши одни садочки.
И чтобы очень худо жили - нет.
Достаток? Был, конечно. Две сорочки -
та сушится, а первая - на мне.

Бобренки - те не сильно бедовали.
Они в аренду землю отдавали.
Хоть у Бобренок хата не нова -
единственная, что не так крива.

Над каждою копейкою трусились,
с остервененьем в два горба трудились.

И как судьба таких свела для пары?
Висели склоки в воздухе, как чад.
Бобренчиха - не то чтоб главной стала,
речь не о том. А всё-то ей не в лад.
Ей всё всегда не так: и муж, и хата.
Всё жалуется: грудь болит, живот.
Была худа, высока и ротата,
как цапля с Перепещинских болот.

Всё ныла и ходила как-то боком.
И мужа так кляла на все лады!
А что узреет ненасытным оком,
то клювом так и вырвет из воды.

И жили недалёко, в хате третьей.
Отец жалел беднягу за несчастье.
Они гуляли с нашим батькой вместе,
и поженились где-то в одночасье,
на Дмитрия. А где-то на Варвару
пришел Бобренко, голову повесив:
«Себе нашёл ты девушку под пару,
а я себе дурного выбрал беса».

Кровь у него козацкая вскипала.
Характером он - с саблей и в седле.
Она ж его - как в землю закопала,
и он притих, как вкопанный, в земле.
И стал домашних хоругов хорунжим,
не поднимал очей на Чурая.
Пошёл бы с войском он в поход -
так грунт же.
Хомут с себя бы сбросил - так семья.
Всё мысли гнал он скользкие не к делу,
до дури наработавшись, храпел:
большое пузо на солидном теле,
и равнодушье до казацких дел.
А как-то ехал через Ворсклу возом,
то ль задремал, то ль так не досмотрел,
в закованную Иордань с мороза
навек с конём и возом в лёд просел…
Бобренчиха осталась же вдовою,
и злее стала на работу вдвое.
А на обед - обглоданная кость.
Перелилась в работу вся и в злость
и сделалась такая, как Яга;
Покрикивает на курей: «Гай-га!»

Кто про калину, кто про стремена,
а у неё всё песенка одна:

- Чего сидишь? Как не хозяин прямо.
Невестку молодую мне б сюда.
А то всё мама, мама, мама, мама!
Дождусь на старость помощи когда?
Вот ты пришёл со славного похода,
а не принёс ни славы, ни добра.
Ни за холодную ты не берёшься воду,
Ты ж видишь, я давно уже стара!
Всё смотришь молча, словно издалёка,
всё думаешь, и локти на столе.
Всё в небо пялишься. Оно высоко,
а жить, сыночек, надо на земле!
Течёт сарайчик. Хата как обхаяна.
Подмокло сено. Поломался воз.
Всё просит рук. Всё требует хозяина.
И денег, денег много чтоб принёс!
- Чего вы, мама, есть же, слава Богу,
хлеб и похлёбка, поле и волы.

- Когда б ты взял невесту не убогую,
то, может, не валялись бы в пыли.
У той Маруси что ни слово - против.
У них растёт на крыше крапива.
Мне от неё давно с души воротит,
Я не хочу её, пока жива!

- Но девушку покрыл я славой клейкою,
не будет, мама, нас судьба ласкать.
А деньги? Вон, в горшочке, под скамейкою,
давно солидной кучкою лежат.

- Они твои? Принёс ты хоть копейку?
Когда-то кинул что-нибудь туда?
Давай, веди сюда свою злодейку,
у матери есть денежки, ну да!

Такая мне от сына благодарность!
Я от работы сделалась больной.
Тяну я воз всю жизнь, аж рассыпаюсь.
Когда ещё отец твой был живой,
то мы вдвоём горбили, легче было.
Удабривали чахлые грунты.
И садик, и прудочек прикопили.
А чем хозяйство умножаешь ты?

Ведь я ж тебя не просто ожидала.
Да я ж в земле сидела, словно крот.
Копеечку к копейке собирала.
И то не деньги, то кровавый пот!

Иди, женись, по-своему управься,
а будет в печке пусто - так и знай,
что, наплодивши кучу голодранцев,
к бабусе за куском не посылай.
Чтоб так и знал: как буду помирать я,
всё отпишу для монастырской братии!
Тебе и завещанья не оставлю,
на всю Полтаву я тебя ославлю!

И Гриць уж повторял мне:
- Оглянись!
Любовь любовью, ну а жизнь есть жизнь!
Спрошу, бывало:
- Что оно за дело?
Под Берестечком бился ты так смело,
под Зборовым сражался, под Пилявою,
ты не покрыл себя недоброй славою.
Зато в домашнем мелочном бою
всю смелость ты подрастерял свою.

А он и сам себя не узнаёт.
- Не смейся, - говорит. - Оно так бьёт.
Не так страшны что пуля, что пожар,
как каждодневный ад домашних свар.

Когда я шёл, Марусенька, на битву,
что ты моя, уже я твёрдо знал.
Последняя и первая. Любить я
до смерти бы тебя не перестал.
Теченье не снесёт меня иное,
я верил, никому не поклянусь.
Когда расправлюсь с этою войною -
уже совсем другим домой вернусь.
Мои глаза такое повидали,
без крови – веришь?- не было ни дня,
что всякие домашние скандалы
не смогут, думал, засосать меня.
Над Иквою попал я как-то в плен,-
вели, у сёдел сделав привязанье.
Тот страшный путь, вороний карк да тлен
запомню до последнего дыханья.
И был не в силах стиснуть кулаки,
как ляхи нас обыскивали в поле.
В карманах лишь ржаные колоски,
и только пуль да пороху - довольно.
Бежал я ночью: оставаться - смерть мне.
Зубами как-то руки развязал.
Под Дубно все три тысячи, наверно,
Ярема уничтожить приказал.
Ярами шёл, отсиживался в ямах,
ел ягоды, грыз горькую кору.
Воды набралось в сапогах дырявых,
не раз уж думал: лягу да умру.

Пусть прахом всё. Прими, земля, скитальца.
И, видно, силы исчерпал до дна.
Но есть же у меня и мать-страдалица,
невенчанная ждёт меня жена!

Оголодав, в слезах жевал я листья,
об пни царапал руки, об кору,
Завидовал я волку, зайцу, лису, -
они ж имеют теплую нору!

Пришлось в чужой мне хате оказаться,-
печь горяча, и девка - самый сок.
Она ко мне хотела приласкаться,
да только побыл там всего чуток.

Судьба – наутро – чёрная, степная:
густой, тяжёлый, вязкий чернозём.
Я шёл. Я еле полз. Но звал тебя я.
Ты мне светила ночью, словно днём.

Но в тот же самый дом я возвратился -
и вновь потоки материнских слёз.
И впрячься в прежний воз я согласился.
Конец ты знаешь. Я повёз.

Я был как вол, и мне не отдыхалось -
всё развалилось, не моя вина.
И злыдни мне в печёнки повъедались,
и эта вся проклятая война!

А всё воюем, боремся… Доколе?
Не то, чтоб я Фомой Неверным был.
Четыре года потерял я в поле.
Просвета нет. И нету больше сил.

От матери бежать я перестал
и понемногу вслушиваться стал:

- Коль брать себе жену, утеху, ладу,
то лучше рыбкой быть ей золотой.
Получишь разве лёгкость и отраду
от той Маруси, пасмурницы той?

Все песни у неё - больная повесть,
а в трудном сердце - гордая броня.
А ваша с ней любовь - то ж просто хворость.
Так стань здоровым, пожалей меня!

И нет её ленивей, поискать бы!
Всё б только пела, Боже упаси!
А если приживётся в нашей хате -
то милостыню мы пойдём просить.

Ей - полон рот невиданных припевок,
всё вымудрит сама себе слова.
Таких на свете не бывает девок,
на ЭТО разве девке голова?

Что там «До свету встали козаченьки»?
А целый полк подхватит, вот те на!
Сынок, для девки это высоченько.
Не верю, что придумала сама.

Пойми, сынок, невестки или дочки -
давненько пели и поют теперь:
«Посеяла огирочки»
Да «Понабрала конопель»,
«Шли коровы из дубровы»,
да « Зачем мне чёрны брови»,-
а про любовь, походы да баталии -
на это девкам разума не дали.

- Пока я мог, то как-то огрызался.
У ней, ты знаешь, не язык, а жало.
Как я намучился и натерзался!
А после сдался, так уже поджала.

Душа размякла как-то и устала:
лепи горошек, как из мякиша.
Привыкла и со всем мириться стала,
от жизни захотела барыша.
Кто натерпелся столько на войне -
тому и жизнь повысилась в цене.

А мать всё стонет, ноет, докучает,
и каждый день то пилит, то рыдает:

- Вот мы, Бобренки, терпим в жизни, мучаясь,
а кто, подумай, есть на свете мы?
А с Вишняками если всё получится -
то станем мы важнее меж людьми!
И будет нам, и будет внукам нашим,
как с мели снимемся, такая честь!
Там ульи, сад, хозяйство, хата, пашня.
Там винокурня, мельницы две есть!

Вот видишь, правда, раз опять чихнулось.
Глупа, ты думал, старенькая мать?
Твоё, сыночек, сердце распахнулось, -
из двух одну придётся выбирать.

Отец твой тоже… Ну, была Ликера…
Он хорошо подумал - и сбежал.

Жалеть о чём? Ведь девка не галера,
и к ней тебя Господь не приковал.

Да мало ль кто там с кем ходил, не знаю!
Сам царь Давид свою жену отверг.
Не думай даже. Сватай лучше Галю.
А кто что скажет - слушай через верх.

Вот так и ночью, и при белом свете, -
она чтоб своего да не взяла!
Она словами выплетала сети,
да потихоньку так меня вела:

- Стара я стала. Часто обмираю.
А как же ты? Чем будешь в жизни сыт?
Войне не видно ни конца, ни края.
Жизнь коротка, мелькнёт - и с нею квит!

Я не боюсь промолвить грешно слово:
за то воздастся разве нам в раю?
Да разве жизнь вторую - чашей полной
добавит Бог за праведность твою?

Запомни - время на руку играет.
Так было, говорю, во век веков:
красивых женихов не отвергают,
уж столько не вернулось козаков!

Чтоб не война, - богатую б не сватал:
жених бы ей нашёлся привозной.
Маруськи, Гальки - все твои девчата.
Ты ж хлопец, слава Богу, показной.

Я повторю опять не для науки,
имеешь тоже разум - ого-го!
Само, подумай, счастье лезет в руки,
зачем тебе отпихивать его?!

Когда б она ругалась и кричала -
то я б отбился, Бог меня убей!
Тиха-тиха вдруг стала, всё молчала,
одежду шила всё на смерть себе.

Вот так случилось. Я дошёл до края.
Сватов направил - и почти конец.
Люблю одну, - что делаю, не знаю! -
другую поведу я под венец.

А сердца крик - как будто комом в глотке.
Каких я не изведал адских мук?
Шипела совесть, как на сковородке,
отмахивалась от зеленых мух.

Наверно, мне до смерти будет сниться,
как от стыда в могилу тянет лечь!
А те сваты лопочут про куницу,
а та дурёха ковыряет печь!

Как я сквозь землю там не провалился?
Не сбил кулак об стены в тот же час?
И как я в кабаке потом напился,
на мать я крикнул в жизни первый раз!

Она ж сидит и гладит осторожно,
так тихо гладит голову мою…
И говорит: «Я девушке надёжной
теперь тебя, сыночек, отдаю!»

…Уже на свадьбу мясо выбирали,

гусей ловили, хлеба напекали.
Уже сидим вдвоём до ночи поздней -
холодные под утро светят звёзды.

Сидим в кладовке. Душно. Бочки, банки.
Фонарь огромный в сетке, как в штанах.
Три бочки мёда. Семь горшков сметаны.
И мы вдвоём на дорогих коврах.

Обычай, слава Богу, запрещает, -
и так я к ней притронуться не мог.
Такое навалилось вдруг отчаянье.
Вот так бы встал и без вести убёг!

Та толстокожая не замечала:
печёт, толчёт и варит, солит сыр.
Ковры с размаху гулко выбивала
да мыла всё кишки для колбасы.

Пищит крысёнком мелким, как поёт, -
как по тарелке ложкою скребёт!

А как-то раз пришёл и застаю -
запела песню - вдруг при мне! - твою.
Как наши вербы над водой качались,
про счастье, что любило нас с тобой.
Я побледнел. И умер бы, казалось,
чтоб только раз услышать голос твой!

* * *

Уж третья ночь плывёт над яворами.
Молчанье Ворсклу переходит вброд.
«Следи! Следи!» - с далёкой слышно брамы.
«Следи! Следи!» - от Киевских ворот.

Звучит печально эхо в полнолунье,
и лунным светом залиты дворы.
Полтава, будто старая колдунья,
с большим мешком спускается с горы.

А ночью мне всё как-то даже ближе.
С бессонницею спорит голова.
Всех обойду. И кладбище увижу.
Там Гриць лежит. Над ним растёт трава.

Зашла во двор и возле хаты стала.
А мама как? Она за день устала
и побрела поспать немного в ночь.
Или бессонно думает про дочь?

Ещё сходить на речку, верно, стоит,
и постоять у наших яворов.
Напьюсь немного сладкого настоя
тех молодых вишнёвых вечеров.

Давида древней тенью или виденьем
метнусь над тихой тёплою водой.
Фесько-дозорный ходит приведеньем
у Старых Мельниц прямо надо мной.

Вот ночь на окна шоры надевает.
Весь город спит, суровый без огня.
И лишь собаки стерегут сараи,
ещё тюремщик - стережёт меня.

К чему в глазок поглядывает часто?
Тюремный крот, вот только не ослеп.
А вдруг повешусь? Вот ему несчастье,
ведь я ж у палача отбила б хлеб…

Не рассмотрел. Заходит, убеждается:
никто тут на решётке не шатается.
По моему плечу провёл рукой.
Куда бежать мне? Глупенький какой…

Сопит, не верит, топает, отходит,
как будто кто-то взял на поводок.
И снова ночь. А где мой Хо?
Мой Хо где?
Забился в самый дальний уголок,

Иди сюда, ко мне, не бойся, крошка.
Смотри, у нас железное окошко!

Судьба такое выткала для нас.
А ночь - как будто бы иконостас…
Бежит, бежит на голос милый чёртик,
цок-цок по стенкам, выше, выше, - вниз.
…Кусочек неба и двора кусочек…
…И Хо на прутьях хвостиком завис…

…А где-то ветер гонит тучу-вату.
Какая духота в моей норе!
Там, под горою, в посмурневшей хате, -
тот гроб стоит… а там, на той горе…

И поздним летом снопики на ниве…
на поле мальчик ловит воробья…
А там, во гробе… Все ли, кто убили,
так тяжко задыхаются, как я?

О Господи, его же закопали.
Ему кукушки всё откуковали.
Я спутала… в ту пятницу… тогда…
когда ещё стояла у суда…
его везли… меня вели…
тот гроб… какие-то волы…
Мне кружку кто-то дал: вода…
а я не знала, кто, куда…

Несу я горе всем под небесами,
ведь умер он с открытыми глазами.
Меня он, видно, даже мёртвый ждал.
И, отстрадавши, заново страдал:
меня оставил здесь совсем одну.
Иду уже. Я скоро. Догоню.

И где-то, за пределом вечных мук,
Мы крыльями обнимемся,
без рук.

* * *

…Последний день.
Пришёл священник.
- Отче!
Снимите боль с души, нет больше сил! -
Ему приговорённый смотрит в очи,
он человека - под епитрахиль.

- Покайся, - говорит. - Гордыни много.

Тебя ведут соблазны суеты.
Ведь человеку так дано от Бога -
долиною смирения идти.

Покаялась. Прощенье добывала
за то, что очень грешною была:
один разок я матери соврала,
одной соседке соль не отдала.

А что скажу?! Погашенную душу
не донесу, как свечечку, на Страсть.
Бог знает. Батюшка же равнодушен.
Он разве правду Богу передаст?

Побормотал, как знахарка над раной,
молитвою уста пошевелил.
И властию, ему от Бога данной,
спасибо, отпустил и разгрешил.

Засов скрежещет кованых дверей.
Пошёл себе достойный иерей.

…А где- то жабы квакают в болотах,
вечерняя на стенах позолота.
Прощальный лучик дрогнул на стене.
И солнце, солнце, - как живое что-то,
единственное, улыбнулось мне!

А завтра, солнце, умирать я буду.
Я смертную пересекла межу.
Спасибо, солнце, ты прошло сквозь прутья.
Я лишь тебе всю правду расскажу.

Не сумасшествие и не расправа, -
ведь это страшно: ближнего убить.
Я не травила. Клятую отраву
он выпил сам. То я хотела пить.

Я ту траву с отчаянья собрала,
про зелье с детства знаю, что за штука.
Ещё от бабушки моей наука,-
её считала ведьмою Полтава.

У жизни бабкиной был чёрный глаз,
и чёрный кот, как чёртик, для причины.
Целебное и рвотное, на сглаз, -
она всё знала. И меня учила.

Я наварила мяты самой терпкой.
Не помогло. Добавила ещё.
Уж скоро день, когда идти им в церковь.
А у меня внутри печёт, печёт!

«Болит моя головонька от самого чела,
не видела я милого, ни раньше, ни вчера», -
вот так себе запою, вроде не печалюсь.
«А как выйду за ворота, от ветра шатаюсь».

Любились мы, как голуби, не надо и лучше.
«Не дай, Боже разъяриться чёрною тучей…»

А ведь печёт сильнее, чем изжога.
Я сердце о забвении молю.
Неверного, брехливого, чужого,
ненужного - как я его люблю!

«В воскресенье рано зелье копала,
а в понедельник переполоскала…»
Ой, спасай ж, смертушка,

чтоб боли не стало!

Уже Бобренки с этим и не крылись,
и не краснеть им, не переживать.
Не пела никогда я на два крылоса,
мне было это тяжело понять.

Откуда-то такие взялись «други»:
Семён Капканчик и Ромашко Струк.
Один хоть побывал в Великом Луге,
другой - оружьем и не пачкал рук.

Пересидел он где-то в лучшем виде,
на пасеке иль, может, в Лободе.
Никто его в походах и не видел,
вот это только вылез на суде.

Идут, бывало, - он как загогочет,
Капканчик шапку сдвинет набекрень.
Мол, что там, ЭТО дело для охочих,
с любою можно девушкой трень-брень.

Уже меня и встретить не боялись,
когда пошли на Задыхальный Яр.
Какой жених, такие и бояре.
Чтоб никогда не видеть тех бояр!

…Носила воду я с другой криницы
и думала: куда б себя мне деть?
И звали девушки на вечерницы,-
вот я и шла, чтоб дома не сидеть.
Они смеются, шутят все с парнями.
Как перст одна, сижу я при стене.
Пряду я пряжу, мысли - валунами,
и даже песни умерли во мне.
Они поют, как пташечка летела,
про то, как кто-то счастье загубил.
Он с ней пришёл, и я окаменела.
Меня увидел - очи опустил.
Вмиг заалели на висках румянцы,
глазами не встречались мы тайком.
И с Галей он - выплясывать, и в танце,
казалось, пол пинает каблуком.
И были так на танец не похожи
те корчи тела в синем кунтуше,
что кто-то даже вздрогнул:
- Не дай Боже,
чтоб так плясать навыворот душе!

Метались на лице, меняясь, тени,
и искры высекались из подков.
Я вышла и спустилась по ступеням.
Не видел Гриць. Пошёл вприсядку вновь.

…Всю эту ночь пекло уста мне горечью.
А после тех проклятых вечерниц
прошло два дня. На третий, ближе к полночи,
ах, Боже мой! - заходит в хату Гриць.

Чудной какой-то, воспалённы веки,
глаза потухшие, под ними - синь.
- Маруся, я пришёл к тебе навеки.
Я на колени стану, ты прости!

- Я лучшие лета в слезах сидела.
И ничего теперь не может быть.
Да мы ж расстались… Пресвятая дева!
Иль заставляю я тебя любить?!

Когда ты над любовью издевался -
всё ради денег, за большой посул -
скажи: иль от меня ты отказался,
иль сам себя навеки обманул?

- Себя, Маруся. Но и правду - тоже.
Мне эти дни вовек не отболят.
Тут двое матерей, твоя и Божья.
Так пусть же нас они благословят.

Чтоб мы с тобой загадки эти бросили
для тех, кто языком чесать мастак.
Маруся, слышишь, вот сейчас, до осени
с тобою по закону вступим в брак.

А мать - из дома. Плачет. Заикается,
и говорить не хочет ни про что.
Сказала лишь:
- Рука не поднимается.
Иди туда, откуда ты пришёл.

- Я предал, так.
Но ты понять не хочешь.
Пришёл тебе всю правду рассказать.
Кому же хуже? Опускаю очи,
а ты всё прямо смотришь мне в глаза.

Я мучаюсь, да так - хоть с моста в реку.
И что-то есть во мне как не моё.
Как будто бы внутри два человека,
кого-то кто-то там не узнаёт.

Страшней всего, что мука та напрасна.
Измена – это грязная возня.
А ты – ты и в страдании прекрасна.
Ты можешь даже пожалеть меня.

Или сказать: хотел - и вот имеешь.
А мне и в сны лишь бред один идёт.
Мученья моего не разумеешь,
твоя же мука - в песни попадёт.

Тебе дано любить, дано и верить.
А что же мне? Где райские кущи?
Непросто выйти сразу в обе двери.
Ещё труднее жить на две души!

Отступник я. Никчёмный, подлый, нищий.
Но если любишь - ты меня прости.
Ведь жизнь - такое скользкое ледище,
и кто там смог, не падая, пройти?

Он говорил - происходило диво:
измену эту так перемудрил
покорно, беззащитно и правдиво,
как будто он про подвиг говорил.

Я слушала его, слепа от слёз,
душа скрутилась, словно листья вялые…
…Хотя бы мне кто
горсть земли
с могилки его принёс.
Натерла б у сердца - и, может, легче стало бы…

Он звал меня любимой, ту – постылою.
Ныл про судьбу и про свои долги.
Под Дубно, там, в бою, он человеком был,
теперь же сам с собою он - враги.
«Гусыня - Галя, да и разум медный,

я плюнул на неё, к тебе сбежал.
А, может, правду говорят, ты - ведьма?
Приворожила - и козак пропал.
Да, точно, ведьма, и никак иначе.
Чего ж я так страдаю и борюсь?
Куда бы в жизни я не поворачивал,
а всё равно к тебе опять вернусь.
Ты ночь моя и солнца ясный лучик,
и нету никого на свете лучше.
Зачем мне лгать? – ты видишь за двоих.
Я не могу без песен жить твоих!

Когда я там и говорил, и клялся,
я знал одно: совру - не ошибусь.
Уж если хочешь знать, я им продался,
в душе я на тебя одну молюсь».

Тогда я распахнула двери в ночь.
А он опешил. Я сказала:
- Прочь!
Добавила:
- Счастливого пути.
А он сказал:
- Мне некуда идти.

- Так к ней иди. И будь между панами.
Я душу за тебя не положу.
Измена встанет навсегда меж нами.
А из чего же песню я сложу?!

…Тень разложилась от стола до печки.
Дрожал лампадки огонёк живой.
Сидел он, опустив большие плечи,
поникнув горько тяжкой головой.

«Раз не хочешь, любимая,
мне женою быть,
то дай мне такое зелье,
чтоб тебя забыть.

Через силу пить я буду
зелье заварное,
а тебя тогда забуду,
как глаза закрою…»

И тронул склянку он устами бледными.
Пил медленно. И выпил. И погас.
Ой, солнце, солнце, лучик твой последний!
Вот это - правда чистая про нас.

В суд после - каждый день меня водили,
в судействе добром до всего дошли.
Они меня по совести судили,
мне наказанье лучшее нашли.

Чего же было долго так мудрить-то?
Казнить - и всё. Простой такой ответ.
Зачем искать параграфы событий?
Страшнее жизни наказанья нет.

Ведите и преступницу повесьте!
В другом я отдохну навеки месте,
хоть там уже вздохну я полной грудью,
вблизи увижу Господа хоть раз.
Так будет лучше. Тяжко было, люди,
и вам со мной, и мне промежду вас.

- Куда же ты стремишься, в ад иль в рай?
- Туда, где батька, где Чурай.

* * *

…Тюремщик в узелке принёс одежду.
чтоб в этом чистом завтра умерла.
Такие бусы! - память жизни прежней.
Ещё моя прабабка сберегла.
Они от турков или от индусов.
Такие красные - для смерти даже жаль.
И колдовские: инеем берутся,
когда бросает человека в жар.
Пусть победнее, чтоб не так уж страшно.
В петле к лицу уже всегда и всё.
А мама белую дала рубашку,
сапожки - видно новенький носок.
Узор богатый юбку разукрасил,
на золотое - радуется глаз…
А как же. Смерть -
ведь это всё же праздник,
и он бывает в жизни
только раз.

ГОНЕЦ К ГЕТЬМАНУ

Раздел 4

Гонец догоняет и ночи, и звезды,
летит неустанно с рассвета в рассвет.
И с каждой минутой все кажется – поздно,
а искра надежды кричит ему: „ Нет!”
О, сколько нам, Боже, ты степи отмерил!
И молит дорогу короче гонец.
Трубеж, Переяславль и Днепр, Трахтемиров.

А вдруг не успею? Неужто конец?!
А в Киев - ад!
Хвастов сдаться не хочет.
Кипит и клокочет уже за Днепром.
Да хоть бы не поздно. Хотя б еще ночку!
Ползет, точно мертвый, проклятый паром!
В полях Подднепровья, от крови раздутых,
всегда кто-то целит тебе между плеч,
коня поменять бы в козацких редутах,
успеть бы, успеть бы, успеть бы, успеть!!!
И красться, как зверь, озираясь тревожно,
усталость свою доверяя лесам.
Всегда ненавидел я тех ,осторожных,
сегодня, теперь, осторожный я сам.
Впервые за жизнь от судьбы уклоняться,
бесстрашного рода придерживать суть,-
я выжить обязан и целым остаться,
и должен я глупую смерть обмануть.
Простите, земля, и деревья, и травы,
не прятался я от несчастий на дно.
Я должен добраться живым до Полтавы,

а после – хоть смерть, мне уже все равно.
Неси меня, конь,
над горами и лесом.
Пути перекрыты, дозорный не спит.
Коль я упаду – неспасённая песня
задушенным криком в петле захрипит!

Над Белою Церковью поздний багрянец,
усталые кони, и небо в дыму.
Там все до Богдана и все от Богдана –
из тьмы вырастая, уходят во тьму.
Споткнулся мой конь об остатки руины.
Есть в лагере гетьман? – скорей, покажись!
Тут, может, решают судьбу Украины,
я я вдруг про чью-то отдельную жизнь!

…Гетьман поднял бессонницей жженые очи.
Гетьман сидел за походным столом в шатре.
Трое бравых старшин в рубцах,
в окровавленных клочьях,
все из боя – говорили про бой на Днепре.
Писарь Выговский сидел над бумагами толстыми.
С каждой секундой могли качнуться весы.
Гетьман подписывал срочно письмо к Потоцкому,
гетьман посла принимал от Карач-Мурзы.
Лагерь не спал, готовый подняться мгновенно,
Искра вошёл – шатёр уже был без дверей.
Пламя свечей в тройных шандалах из меди
пугливо метнулось в чёрных крыльях кирей.
Замолчали старшины, дела отодвинулись срочные.
Хитрый посол подставил ухо словам.
Гетьман поднял бессонницей жженые очи.
- Полк в дороге! – с порога сказал Иван.
-Искра, здравствуй, - Хмельницький
поднялся спокойно. -
Спасибо Полтаве, - прислала такого гонца.
Что-то случилось, твоей печали достойное?
Искра промолвил:
- Полтава казнит певца.

Выслушал гетьман. Спросил про причины строго.
Джуру вызвал, сказал, пусть побудет с ним.
-Сменишь коня. Отдохнуть дай ему немного,

Побледнел вдруг, большою печалью томим,
Послы поднялись все с шатерной лавы.
Неблизкий свет – в Рокитно из Полтавы.
Навряд ли путь такой еще есть длинный,
Как здесь: на Украину с Украины.
Выговский вышел неторопким шагом.
Сто разных дел таилось по бумагам.
Иван поднялся, вышел вслед за джурою.
Остались лавки, крытые коврами,
фотель немецкий с выделанной шкурою
и лари подорожные с вещами.
И, обхвативший голову руками,
сидел Хмельницький с думою своей...
И образ Спаса, выбитый на камне…
Покинутые перья писарей...

…Что думал он наедине с собою,
в глухую полночь, перед самым боем?
Что больно выжигало всё нутро,
о чем тогда советовался с Богом? -
То знают лишь чернила да перо,
подставка, - битва льва с единорогом.
И, черную ферязь на плечи бросив,
Гелену вспомнил и оскал беды,
и в личном горе пролитые слёзы

открыли сердце для чужой нужды.
Иль вспоминал Гордея Чурая, -
короткий путь до славы в вере твердой,
где та победа, с горя как ничья,
в открытые глаза смотрела мертвым.
Тогда ещё он, писарь войсковой,
подписывал то проклятое слово.
…И, погасив огарок восковой,
он, может, о свободе думал снова?

Что как-то получается оно:
года идут, свобода еле дышит;
что вроде и не писарь он давно,
а договор проклятый вновь подпишет.
Про песни, что слагает Чураивна,
которые поёт вся Украина,
Что он и сам не раз в походах пел
и удивлялся средь великих дел:
да кем же ей дана такая сила -
такое петь, такие вот слова!
Она хоть кару легче попросила?
Ох, горяча отцова голова!..
…Про голову ли думал он отняту,
в Полтаве вознесенную на кол?
Иль про девчушку, что кричала: «Тату!» -
Стон этот страшный в песни перешёл.
Иль, что в Полтаве, в той таки Полтаве,
Чурай Марусю, да в такой неславе,
да при такой поруганной судьбе –
на виселицу поведут в толпе.
Не содрогнется песенный наш край…
И море гневом не затопит сушу…
И пеплом сам развеянный Чурай
с бессмертной болью смотрит в нашу душу…
Но вот и конь заржал
возле шатра.
Вошел Иван. И вот, из-под пера,
Богдан подал приказ
гетманский свой,
отмеченный печатью войсковой.

КАЗНЬ

Раздел 5.

Светает, Господи, светает…
Роса как будто из парчи.
Мария, Дева Пресвятая,
то ты так плакала в ночи?

А вот цветочки, капли синьки,
на старом камне прижились.
Играет утро на росинке,
и обнимает землю высь.
Тюремщик выполз на прогулку.
Проходит стража по двору.
Ох, как же быстро ночь мелькнула!
Сегодня утром я умру.

Печаль осыплется, как маки,
Затопчут место, может быть.
Лишь там, на хуторе, собаки
ночами долго будут выть.

Душа отправится в долину,
глазами звезды проведут.
Хоть, может, гроздочку калины
они на грудь мне покладут?

Отмучилась. Покину дело
на той неправедной земле.
Уже допела… всё допела!..
Осталось отхрипеть в петле,-

и всё. И хватит. Засыпаешь.
Уже не помнишь ничего…
А что? Теперь, Маруся, знаешь,
Что значит «нету никого»?

Никто тебе не отзовется,
теперь навек сама с собой.
От стенок только отобьётся
лишь эхом ставший голос твой.
Одни обломки, половинки,
да две тонюсеньких травинки,
Окошки в низком этаже.
Ни голосочка, ни слезинки.
Да хоть бы попрощаться же!..

Ведь были ж у меня подруги,
и песни пелись не во сне.
Лишь груша, налитая туго,
качнулась тенью на стене.

А за оградою – ручонки,
а над оградою – глазенки.

Черны, и голубы, и серы,-
немею от такого дива.
А дети грушу так обсели,
как будто груша их родила.

Глаза сияют, а дыханье – сдержано,
сломалась ветка, кто-то полетел.
- Ты видишь?
- Где?
- Не видно!
- Ну, так где ж она?
- Ты правда ведьма? А там нет чертей?
- Послушай, ведьма, а лови-ка грушу!
- А где ты спишь? А кушать ли дают?
- Запрячься! Вот идут по твою душу!
Уже подходят, на порог встают!

Вот это всё с людьми моё прощанье -
светлы, как солнце, души у детей.
Спасибо вам за дерево познанья -
единственное, где бессилен змей.

…Звенит железо. Топают ногами.
Там тишину пинают сапогами.
И входит Смерть. Она в людской подобе.
«Не рыдай, мене, мати, зрящи во гробе!
Не рыдай мене, мати, зрящи во гробе!»…

А любопытные поближе встали,
И что уж там те люди не плетут!
Палач прошёл, и грохнуло в Полтаве:
- Везут Марусю, вон её везут!-

Везут Марусю, да далёко слишком,
куда-то вдаль везут, за ковыли.
Уже голов судейские пустышки

гуденье над ветрами завели.
Уж пьяный Дзизь губу кривит в безделье,
с остервененьем вожжи тянет: «Н-н-ну!»
А там, в степи,
- в степи, как приведенье,
стоят ворота в смертну сторону.

Все лезут в степь, пешком и на подводах.
Гук-атаман дивится:
- Вы – куда?!
Вам, люди, что, со смертью по дороге,
что вы, как стадо, прётесь все туда?!

Что их ведёт - и доброе, и злое?
И где та грань – кто люди, кто толпа?
Толкаются, так тесно сбившись, стоя.
Спасибо, войско увела судьба.
А что ж им, как на это любоваться?
Бросаться с саблею на всех подряд?
Да лучше самому в петле болтаться,
чем наблюдать, как девушку казнят.

Лесько Черкес – вот он почти что плачет
и чуть не разрывает удила.
Пушкарь сказал:
- Останешься, козаче,
чтоб голова и сабля здесь была.

А что надумаешь той головою?
Там судьи, сторожа, - не подступи!
Вот так схватить бы девушку живую
и мчаться, мчаться далеко в степи!

Людей всё больше… Что им тут забавного?
О Господи, спаси нас от лукавого.
Что? Очень надо?.. Хочется, ну да…
Зачем – не знают, а идут сюда.

И первым – поп с крестом. Всё так похоже
на крестный ход…
Вот виселица?! Боже!
Здесь душу навсегда приди и вынь…
ДЛЯ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ. Аминь.

Читает поп Евангелие. Страшно.
Трава спокойно слушает, легко.
Так одиноко, так почти безгласно
степная чайка стонет далеко.

Холодный ветер, небо ниже здесь,
земля к ногам в полпуда налипает.
А тут ещё за петли всех хватает
вконец уже измученный Черкес.
Он спрашивает:
- Был такой обычай? -
когда козак на место казни шел,
то выходила девушка, закутав личико,
чтоб он не видел, кто за ним пришёл,
и говорила:
- Быть женой берусь я! -
и отдавали, не казнили, вот!
А если так спасу сейчас Марусю?!
- Тут девушка, тут всё наоборот.
В каком ты им покажешься подобии?
И что им скажешь? Нет, не отдадут.
«…Настанет час, и сущие во гробе
услышат глас Христа и изыдут…»
Поп дочитал. И снова двинулись.
Прошли версты уж полторы.

И где-то сбоку за долиною
теперь остались хуторы.

И тот погост, где над гробками
высоко тишина течет.
И те кресты, что с рушниками,
как у сватов – через плечо.

Остановились. Кучно, с толком
пришел на место крестный ход.
Молодка на руках с ребёнком
быстрей протиснулась вперёд.

Стоял помост.
На дальних кручах -
овец отары. Белый день.
Верёвка. И бежали тучи.
И перемолвились в толпе:

- Люди, кто привел с собой ребёнка?!
- Он же маленький, не понимает.
- Вот и нянчили его бы дома,
кто сюда вести вас заставляет?

- Пропустите мать, пусть станет ближе.
Кто-кто, а она заслужила.
- Перекреститесь, какую мать?!
- Грицькову.
- А-а-а, Грицькову.

- Марусину не дали тронуть с места.
И так она уже полуживая.
Жена там рядом с нею - Шибилиста,
Ящиха с ней осталась Кошевая.

И прокатилось над толпою пёстрой:
«Везут!» И стали женщины как мел.
Проныра-швец подметил глазом острым:
верёвку можно после взять для дел.

Замолкли все, никто не шевельнется.
Лишь две кумы, кому сосед - Вишняк:
- Гляди, идёт и даже не споткнётся.
Ей в петлю лезть – она ж цветёт, как мак!

- На мать похожа, только выше вроде:
и очи, и такая же коса.
- Ну вот, скажите, люди, как находит
таких убийц – такая вот краса?

- Да как кому, а я скажу: взаправду
она и не похожа на убийцу.
Преступница, - а так и снял бы шапку.
На смерть идёт, - а так и поклонился б.

- Вот из таких ты, видно, из ретивых,
чтоб только зенки пялить на красивых, -
здесь женщина с усмешечкой такой.
- С поклоном шапку снять?! Перед какой?

Вот перед этой? Вот перед такою,
что отравила собственной рукою?
Да чтоб над нею обвалилась твердь!
- Перекрестись, она идёт на смерть!

…И шла она. А тучи ниже, ниже,
седая степь с утра ещё в росе.
И с каждым шагом к смерти ближе, ближе.
На это глядя, содрогнулись все.

Стояли люди сборищем притихшим.
Она же шла, как будто кто манил.
Лицо казалось мертвым и застывшим,
и только ветер косы шевелил.

Веревка, ветер, сдержанные речи –
так страшно не у места здесь была
точеная головка, эти плечи
и гордый профиль чистого чела.

И в смертной тишине
– какой-то дивный
(она уже целует образок)
на той высокой шее лебединой
старинных бус изысканный рядок.

Палач уже не выдержал, поспешно
занес мешок, схватившись за края, -
иль чтобы ей не видеть было легче,
иль чтобы жалость спряталась своя.

А вот стоят, представленные властью,
чтоб засвидетельствовать смерть всегласно.

О Господи, прости свою рабу!..
Вдруг сбоку всадник врезался в толпу.

А конь хрипел, роняя пены клочья.
Бумагой важной всадник потрясал:
- Остановитесь!
Я уполномочен
Гетьманский огласить универсал!

- Иванко! Братик! Как же ты успел?! -
кричал Лесько, вдыхая полной грудью.
Судейский как стоял, да так и сел.
И облегчённо зарыдали люди.

И не успел ещё утихнуть плач,
ещё гонцу не дали отдышаться,
А Шибилист уже понёсся вскачь -
быстрей в Полтаву! –
матери сказаться.

Горбань пощупал Гетьмана печать,
потом отдал судье и бургомистру.
Палач растерян, люди все кричат.
И страшно глянуть на Ивана Искру.

Гук-атаман ступил, качнувшись станом,
с помоста закричал, что было сил:
- Наш гетьман, властью ему данной,
такой указ велел здесь огласить.

«Дошло до нас, до гетьмана, известье:
в Полтаве совершился страшный грех.
И смерть за то назначена. Мы вместо
с писаньем этим ознакомим всех.

Во времена кровавой круговерти
достаточно уже имеем смерти,
нас окружила смерть со всех сторон,
и свадеб – мало, больше похорон.
Хотели б на себя мы взять вину –
развеять прахом жизнь ещё одну?

Чурай Маруся в том лишь виновата,
что так была отчаяньем объята, -

зло учинив, не так уж и повинна.
Одна измена – главная причина.

Неправильно наказывать, при этом
чтоб не учитывать заслуг иных.
Её все песни – наши самоцветы,
чудесный клад среди забот земных.

Сейчас в народном горе и разрухе,
в кровавом гневе, на такой войне, -
что помогает нам не падать духом?
Та сила песни, что сильна вдвойне.

Про наши битвы – на бумаге голо.
Лишь в песне тот святой огонь горит.
Казним певца – задушенное горло
задушенною песней захрипит!»

Гук помолчал – так задрожало веко –
и полной грудью дальше прочитал.
Что за могучий глас у человека!
Хватило б и на пять таких Полтав!
«За все те песни, что она слагала,
за всё за то, за что она страдала,
и за отца, распятого в Варшаве,
что не склонил перед врагом чела, -
лишь не хватало городу Полтаве,
чтоб здесь она повешена была.
И девушку вы отпустите сразу,
чтоб приговора не было того.
А судей обязать таким наказом:
без ведома и слова моего
не обрекать на казни самочинно.
Бумага чтобы мне была дана
о каждой казни. По такой причине,
что смерть - повсюду,
ну, а жизнь – одна».

Универсал публично объявили,
и дело это навсегда закрыли.

Поскольку чуть лишь не дошло до казни,
и смерть свою она пережила,
не будет больше разбирательств разных.
Она уже наказана была.

…Болталась ненадетая верёвка.
Толпились люди. Радостная весть!
Смеялся столяр сереброголовый,
что гроб его не пригодится здесь.

И подбежал Иван – с размаху роста
сбил лестницу со смертного помоста.

И женщины к Марусе подбежали,
одна воды тихонько поднесла.
…Она стояла, словно неживая,
уже черту как будто перешла.

- Ещё такого слыхом не слыхали:
чтоб те не шли, кого так отпускали!
- А может, помешалась? –
и к Ивану:
- Послушает тебя хоть? Подойди! –
… Она стояла. И над головами
всё проплывали сизых туч ряды.

И не было ни радости, ни чуда.
Отчаянье: не дали умереть.

Не слышала и ничего не чуяла.
Чуть ожила она о той поре,
когда к ней матерь подвели. Опомнилась
и отшатнулась от того столба.
И что-то ей как будто сразу вспомнилось,
но шла она беспамятно-слепа.

Бледна, как мел, - ещё бледнее стала,
а, тихо улыбаясь, лепетала:
- Не плачьте, мама, всё уж миновало, -
и волосы седые целовала.

БОГОМОЛЬЕ

Раздел 6

…Жирно чавкала грязь в старых тех башмаках,
низко вербы склонились в оборванных платьях,
повезли мою матерь на белых волах,
неоплакану матерь, неоплакану матерь.

Отдыхай, моя мама. Там легче тебе.
Причинить там не смогут ни боли, ни муки.
А я шла за тобой одиноко в толпе.
Вот и все твои, мама, и дети, и внуки.

Никого, никого, никого на земле,
ни единой нет веточки нашего рода!
Только старое чучело в старом рванье
стережёт тишину в лопухах огорода.

Да сама я не знаю, жива или нет.
Только знаю одно, что, закрывшая веки,
проплыла моя мать по земной стороне,
в лодке гроба отправилась в землю навеки.

Добрела я домой как из дальней дали,
тяжким грузом на душу –
посмертное тленье.
Всё мне слышится: черные комья земли
глухо падают, мама, на дом твой последний…

…Тогда недолго, мама, жизнь потеплилась –
всего недели, может, полторы.
Кленочками багрово-жёлто-светлыми
Вас проводила осень с той поры.
И отрыдали в небе журавли –
прощай, мой самый дорогой покойник…
Могильный горбик маминой земли
поцеловала. Я теперь - паломник.

…Вчера умылась в Полузорье-речке,
следила в небе птичьих стай полёт.
Такая безмятежность, бесконечность!
Вот я в степи. А боль во мне живёт.

Цветочный запах лёгкий ветер носит.
Пасёт корову тётка за межой.
Никто и ни о чём меня не спросит.
Я всем – чужая, каждый мне – чужой.

Иду-бреду себе через долину
и ступни битые стужу в росе.
Никто мне не засматривает в спину.
Иду. Я человек. И я как все.

Ещё пока тепло, в лугах ночую,
а там, глядишь, кто на ночлег возьмёт...
Вот только на детей когда смотрю я,
речь отнимается и горло жмёт.

Как надломились все мои напевы!
Дорога, степь – всё, как в туманном сне.
Паломники идут… И им, наверно,
не горше в этом мире жить, чем мне.

…Вчера меня жалели. Мол, больная.
Худая, под глазами – словно сажа.
От ветра я теперь шатаюсь даже.
Пустышками-очами мир вбираю.

Бывает, красота вдруг ослепит –
Земля, вода и травы – по колено.
Там степи, небеса, тут – лес стоит,
Всё так красиво, чисто, неизменно.

Гляди вокруг – дорога, яворы,
зовется Украиною все это.
Всё – чудо, всё – моё, и столько света,
остановись и с Богом говори.

…А степь уж седая на поминках лета.
Осеннего неба последние дали.
И ветка сухою рукою аскета
всё держит оранжевых листьев медали.

Как глянешь далёко – дорога в намысте.
То краски последних балов золотые.
Всё в красных и жёлтых, в оранжевых листьях,
а люди бредут и бредут, как слепые.

А ястреб прямо с неба мышку ищет.
Большого леса ягодный узор.
Сереет степь. И на дороге тише.
Паломники достали хлеб из торб.

Степная чайка бьётся об дорогу.
Паломник-дьяк обедает на пне.
- Чего хромаешь?
- Проколола ногу.
- Сядь, отдохни.
- Да некогда же мне.

- Вот так и мне, всё некогда и некогда.
Хоть как беги, а всё-таки в длину.
Ведь знаю: умереть всегда успею.
А время всё равно не догоню.

- А Киев далеко ли?
– Да не очень. Варшава дальше, -
усмехнулся дьяк.
Сидит и мне неспешно палку точит,
а старый и небритый, как сорняк.

- Идёшь на богомолье, значит, ты?
Дороги столько надобно пройти.
Там будут сёла, будут города.
Гляжу, упряма, хоть и молода.

Но что-то такова ты, как обуглена,

как будто только снятая с креста.
Тут, видишь, палка будет необстругана,
а тут мы срежем – очень уж толста.

Вот чудо. Мне – чужая чья-то милость,
как лучик солнца в маленьком окне.
- Хотела жить – но жизнь не получилась,
а умереть не дали люди мне.

Он говорит:
- Моя ж ты голубичка!
Страдания даны, чтоб возвышать.
Вот я смотрю – твоё такое личико,
что прямо насквозь светится душа.

А как подумать, девочка моя ты,
то кто из нас на свете не распятый?
И, коль в груди не ледяное сердце, -
то от распятья никуда не деться.

Есть утешенье горькое в судьбе:
кому-то в мире хуже, чем тебе.

- Ты из Полтавы?
- Прямо из Полтавы.
- А где живёшь, и звать-то тебя как?
- Зовут Марусей, - скупо отвечаю.
И вновь молчу. Такой настырный дьяк.

- Ну, как там ваши улицы Гончарные?
Кузнецкие? Сапожные? Ты чья?
Поются ль песни всё ещё печальные
про Остряницу или Чурая?

Глаза его так ласково-печальны,
что прямо видно – не душа, а клад,
- А были вы давно у нас в Полтаве?
- При школе зимовал я год назад.

Люблю Полтаву. Люди там не сонные.
И город славный. Где ты там живёшь?
Купцов Полтавских видел я в Саксонии,
и видел полтавчан и франков всё ж.

Там сабли не ржавеют без надзору.
В подвалах мыши сбрую не грызут.
А порох! – добрый делают там порох.
Ссыпают в бочки, гетьману везут.

- Еда там и питьё богаты, славны.
А как там девушка одна поёт!
- Я, - говорю, - не то, что из Полтавы,
на хуторе семья моя живёт.

А он всё стружит.
Вдруг меня узнает!..
- Беда всегда людей подстерегает.

Возьми, бери, хорошая палица.
Себе такую ж выстругал вот так.
Двух ног не хватит – третья пригодится,
отмахиваться ночью от собак.

А тут чем дальше, тем с ночлегом хуже.
Не то, чтоб люди глухи иль во зле.
Чума нагрянет, если так и будет
война ходить годами по земле.

Дожились до богатства и до славы:

мор меж людей, а все леса –
трухлявы.

Прошёл я землю поднебесную,
как говорил святой Иов.
Куда ни глянешь в даль окрестную –
спокон веков лилась тут кровь.

Там отступало войско Остряницы,
тут сёла сбил копытами Кончак.
А тут, в долине речки Солоницы,
слезами горя высох солончак.

Вон, видишь, крест, а рядом – птичья стайка.
Тут речка полноводнее текла.
Вот это здесь скрутили Наливайка,
и смерть его в мучениях была.

Красивый был, - с лица хоть выпей воду,
хоть молод – силы столько в козаке!
За то, что он боролся за свободу,
зажаренным он в медном был быке.

А вон, с другой, гляди-ка, стороны -
столица Вишневецкого – Лубны.

Там жил Ярема, сын Раины.
То – разоритель Украины.

Упырь с холодными глазами,
чванливый словом и собой,
с душою злой, преступной самой,
что так закована броней.
Обломок рыцарского рода,
мучитель своего народа,
палач кровавый, черный крот в норе –
он жил вон там, на замковой горе.

И с той горы, что так стоит высоко,
Вся в окруженье речек и канав,
лубенский родич краковского Смока
когтями нашу землю загребал.

Роскошно жил на шее у холопа,
у многих девушек - поругана краса.
Стрелял косуль, возил пшено в Европу.
По прихоти он выжигал леса.

Он грабил край, и люди кровью плакали.
Он брал за всё – со смерти, с живота,
за дым, за торг, за разное-за всякое,
с воды, с души, с воза и со скота.

Налогом ульи обложил, пекарни,
налог – с лугов, посевов и лесов.
В монастырях, отделанных под псарни,
монахи сами содержали псов.

Удерживая жадною рукою,
был твёрже твёрдокаменных твердынь.
Горели сёла. Кровь лилась рекою,
когда бежал степями на Волынь…

Уже пропал Лубенский тот владыка,
и замковые рвы давно пусты.
Лишь, как печаль извечная и тихая,
душа Раины плачет на кресты.

А там, где жил всевластный Еремея,

поразрастались дикие кусты.
Лишь каменными челюстями змея
стены остатки смотрят с высоты.

Где был дворец – теперь одни руины,
торчат обломки обгоревших стен.
А всё, страдая болями своими,
скулит душа Раины по сей день.

И только туч пурпурные основы,
и при дороге – мальвы, валуны,
и на губах, как вечный привкус крови, -
столица Вишневецкого - Лубны.

Едва иду. Боюсь остановиться.
Лубны прошли. Ещё минули – днём.
И, как полой дырявой плащаницы,
накрыло город чёрным вороньём.

И снова степь. И снова - дали много.
И я молчу, и дьяк. Нелёгкий путь.
Идёшь, идёшь… Дорога и дорога.
Идёшь, идёшь… Да хоть бы отдохнуть.

Зашли в село, и как-то жутковато:
нет лая, и ворота не скрипят.
И, как стога в ночи, не светят хаты.
Неужто рано так все люди спят?

И все дворы так неприветны были.
Двух женщин только встретить довелось.
Как будто бы дрова на них рубили –
в морщинах горьких лица эти сплошь.

Дьяк – ничего. Стянул потуже в поясе
и бодро мне кивает головою:
поскольку, мол, село зовут Семёновка.
так и пойдём к Семёну мы с тобою.
Хотя бы вон в ту хатку над дорогой.
Была бы крыша. Отдохнём немного.

А крыша - в дырках, небу вся открыта,
Подпёрта хата ветхими дверьми,
и щели чем попало позабиты
вот с позапрошлой, может быть, зимы.

И в хате голо, пол – земля, и только.
Ход крот прорыл – уже поднялся пол.
- Садимся, - дьяк сказал.
Добавил горько:
- Есть хата. А хозяев не нашёл.

Тут от Лубен и до самой Волыни -
лишь вдовьи сёла. И по всей долине
стоят дворы в убранстве крапивы.
А тут, как видишь, даже нет вдовы.

Тут убегал по трупам Еремея,
и всё карал, карал, карал людей он.
Рубил им руки, вешал, распинал,
Сажал их на кол, головы снимал.
И за собой оставил страшный след –
козацких тел кровавый мясоед.

Кого казнить – недолго разбирались.
И только сёла вдовьи здесь остались.
Названья сёл всё больше из имён.
Гляди: Панфил, Григорий и Семён.

…Мы уходили тихим утром снова.
А паутина, словно сеть, вокруг,
наживленная по порог подкова.
Давно забытый, брошен ржавый плуг.

Иду. Молчу. Не спали, а приснилось:
хозяин мёртвый всё бродил меж стен…
Иль сердце снова плакать научилось
на той дороге в Киев из Лубен?!

Молчу. Иду. Смотрю я на дорогу.
Село, здесь только тихой речке течь.
На радость своему, наверно, богу
Поставил, князь,
ты столько страшных свеч?

За горизонтом – там, вдали, вдали! –
всё видятся кровавые колы.
Над далью лет, спокойствием долин -
изжёлта-красны ягоды рябин.
Стучат те кости, что давно истлели,
и на ветрах трепещут рукава.
Черны лохмотья на казацком теле,
и некому над этим горевать…

А воронью здесь места – безраздельно,
вороний карк – недели напролёт.
А крук – отшельник. Он себе отдельно
Сидит и часа лихолетья ждёт.

Дьяк говорит:
- Спросить бы взять у крука,
ведь крук так стар, навиделся всего, -
а думал Байда иногда про внука, -
что прадеда предаст он своего?!

Не потому ль такой Ярема лютый,
готов всю землю смертью замостить,
что каждая осиночка-малютка
что он – Иуда, - кроной шелестит…

А на поля и мгла уже спускалась,
и песня как сама собой слагалась:
«Ой, в Полтаве на рыночке
да пьёт Байда мёд-горилочку.
Ой, пьёт Байда, Байда молодецкий,
А навстречу Байде едет Вишневецкий.

- Где ты, - говорит, - такой тут взялся,
что мне на глаза ещё не попадался?
Кто ты, - говорит, - какого роду,
Что тебя не видел я в Полтаве сроду?
- А я Байда, Байда Вишневецкий,
И меня когда-то вешал царь турецкий.
В Цареграде раз меня схватили
и за ребро крюком, крюком зацепили.
И в раю сидел я, очень скучно стало,
сто лет Украины милой не видал я.
- Отпусти на землю, - говорю Петру я, -
там же мои дети, как живы – здоровы?
Там же мои дети, да в колене третьем.
Что на Украине делают те дети?
Ну. а Пётр послушал,
лестницу направил,
лестницу пониже,
На рябину прямо.
Крикнул тут Ярема на своих гайдуков:
- Возьмите же того Байду
хорошенько в руки!

Вы возьмите да свяжите,
и за ребро крюком,
крюком зацепите!
…Ой, висит Байда на рыночке
да не день, не ночку,
не часиночку.
Молвит Байда, Байда Вишневецкий:
- Лучше б меня снова вешал
царь турецкий!
Сидеть на колу - то ещё не мука.
Как теперь смотреть – дивиться
на такого внука?!»

- Э, дивчина, долго слушаю уже.
Да поёшь не про того ты Байду же…

А голосочек! Так чего ж таилась ты?
А вот запела – я остолбенел.
Ведь пел я и на хорах, и на крылосе.
Духовный, светский мне знаком напев.

Дискантов слышал, теноров, басов,
ты душу научилась вынимать.
Есть, может, много лучше голосов,
но вот ТАКОГО не пришлось слыхать!

Скажи, откуда, девушка с Полтавы,
ты научилась эти брать октавы?

- Пою я по-простому, как умею,
наукой песенною не владею.

- А я познал риторику, инфимы,
и так скажу: жива душа не ими.

Поэты пишут сладко, под размеры,
про три персоны божьи. А слова, -
слова, Маруся, и мертвы, и немы,
от слов таких глупеет голова.

Поднаторели наши рифмоплёты,
а только нет в тех виршах ничего-то.
Порочны мыслию, убоги словом,
а в тридцать лет плешивы и стары,
они стишата лепят безголово, –
рыдают горько в сёлах кобзари,

или такие вот, как ты, девчата.
В их грустных песнях истинная жизнь.
Ведь в Украине слово не зачато.
Дай Боже это ей дитя родить!

Ведь то, что пишут, - то ещё полова,
то не посев ещё таким полям.
И с появленьем книги «Часослова»
ещё не дали вырасти словам.

Да всё кому-то в угожденье пишут
и чечевицу просят, как Исав.
А кто напишет или написал
о том, чем наш народ великий дышит?!

…Дорога снова. Тополя, могилы.
Архиповка, Григорьевка, Панфилы,
Остаповка, Карпиловка, Тишки.
Так и идём. Пути горьки, горьки…

В селе протарахтели где-то возом.
И снова тишь такая, что звенит.

Дьяк говорит как будто сам с собою.
Всё, старенький, бубнит себе, бубнит.

- Когда я в бурсе познавал науки,
Афины, Рим прошли сквозь мои руки.

Вот был народ! Что римляне, что греки.
На все века потомкам припасли.
А мы! А мы! Хоть бы какие реки
Гомера в колыбель к нам принесли.

Во все века мы слышим звон оружья,
и есть у нас и боги, и герои.
А скольким нашей крови было нужно!
Но говорится: «Как руины Трои».

Про Киев так не говорили, да.
Когда-то в старину необозримую,
дорога страшная была из Рима -
и Аппиевою звалась тогда.

С веками время утекает,
а в мире, верно, каждый знает,
когда, кого там распинали.
Про то написаны анналы.
Про то писали так и в рифму.
Твердили вдоль и поперёк.
Но ведь дорога та из Рима -
всего лишь две-три сотни вёрст.

А тут до самой до Волыни –
всё вдовьи сёла Украины!

Кто знает, что же тут случилось?
Поведал кто про это житие?
Безгласное, туманом всё покрылось.
Непознанным ушло в небытие.

Когда-то, может, через много лет
никто не распознает слабый след,
Не снимет шапку, не прольёт слезы.
А что? – дорога, ездили возы,
Ветра гудели, тёплые к весне…
Большое дело – слово на письме!

Истории все пишут на столе.
Мы ж пишем кровью на своей земле.
Мы пишем плугом. Саблею, мечом,
Невольничьи рыданья в песню льём.
Не знаем мы могил по именам
дорогою от Киева к Лубнам!

…Идёшь, идёшь, ещё не половина,
идёшь, и хорошо, что не одна.
Кровавым градом слёзы у рябины,
и белым лебедем плывёт туман.

А изумруд лесов так порыжел.
после дождей
– весь в крапинках мельчайших.
И глубже осень.
Жёлуди уже
всё прячет сойка под листвой опавшей.

Одна картина, хоть длинна ходьба:
Дома не белены и выжжены хлеба.

Дьяк говорит:
- Где будем ночевать?

Про хлеб и соль давно здесь не слыхать.

Хожу по свету, хоть уже немолод.
Земля большая. Радость – где она?
Везде беда.
Не только страшный голод,
но и недугов смертоносных тьма.
И люди мрут, убитые болезнями.
Господь гробами землю поразил,
поля засеял воинами смелыми,
Ну, а несмелых всех – переморил.

А тут ещё комета тьмы вселенской,
скрестились в небе будто два меча.
И голый волк явился под Смоленском,
он ест людей и воет по ночам …

Тебе, голубка, хоть воды напиться.
Иди одна, - тебя не испугаются.
Чем на подходах ближе мы к столице,
то тем прочнее люди запираются.

- Хоть девушку пустите,
ведь с дороги.
Гнилой соломы жалко подстелить?
Бурчат в ответ:
- Таких вас ходит много.
Весь мир такой теперь. Пусть Бог простит.

- Ну что ж, приветили достойно.
Так ночевать и будем стоя?

Ты слышишь, не отчаивайся только,
ещё под небом есть чуток травы.
А как Иисус, сын человека стойкий,
что преклонить не мог и головы?

И то сказать: здесь выморочный ветер.
Иль знает кто, откуда мы идём?
- Ну, нету места, милые, поверьте.
Себя по хате по полу кладём.

У этих дети, роженица в хате,
у тех – слегли на печке умирать.
А мор с Подолья катится с проклятьем.
Не пробуй в окна по ночам стучать!

Кто чёрств, кто зол, кто немощен, кто лих -
давно неволя души раздвоила.
«Расширю страх мой на земле живых», -
как слово у пророка Даниила.

Остался солнцу шаг до потухания,
Пойдём, одно пристанище нам есть,
Где ни печали нет, ни воздыхания,
а только бытие навечно здесь.

Приветливые кладбища бывают –
шатёр небес – и нету ни следа.
Живых живые часто убивают,
а мёртвые не тронут никогда.

На свете приведений много разных,
а здесь покой,
давно уснуло зло.
Ведь кладбище – оно, поверь, не страшное.
Душа, бывает, лишь взмахнёт крылом.

Вглядись, - ну чем не райские здесь кущи?

В траву упало ворона перо.
Есть даже райки,
яблочки горькущие,
на древе зла привитое добро.
Здесь, верно, змей на страже оголтелый.
Сама не ешь, не искушай меня.
Ведь строгий ангел, мрамор белотелый,
с надгробья спрыгнув,
станет прогонять.
Гробы богаты, видишь, алебастровы.
Надбитый ангел думает про суть.
Погост старинный. Тут, наверно, пастыри
библейских коз с молитвами пасут.

Всё камень, мрамор за большие деньги.
Гербы, гробницы, склепы и ступеньки.
В железе двери, вору – не ко времени.
Плющ буйный вьётся всюду над ступенями.

Фамилии всё на надгробьях панские! –
Быдловски, Козебродски, Себастьянские.
Достоинство при имени великом:
Рох Яблоновский и Тадеуш Пика.

И самолюбованье именами.
Не спится что-то с этими панами.

А тут кого заткало паутиной,
И что так время стало разрушать?
Антон Ключенко, писано латынью.
И этот, видно, тоже им под стать.

Стемнело. Жаль. А побродить вокруг бы.
Наверно, есть тут набивные буквы.
А вот надгробье…
- дьяк аж отшатнулся. -
Смотри, живой, ей-богу, шевельнулся!

«Обнял мя страх» - в псалме такое есть.
Мы не одни с тобой, выходит, здесь.

Так, может, ноги отряхнём от праха!
Не дай Бог - привидения рука.
Уж очень бедно он одет для графа,
и очень уж богат для бедняка.

Гляди, сидит и нас не замечает.
Сам – как надгробие седой печали.

Поляк, наверное. Такой уж старый-старый.
И видно, вся семья и род их славный –
вот здесь в земле…
О, скорби всеочистны!
Вот здесь теперь уже его отчизна.

Так отойдём. Ну, чем ему поможешь?
Одни кричат: «От можа и до можа!»
А этот? Человек между людьми.
Живёт, как мы, и мучится, как мы.

Потомки после будут отмывать так
от глупости и крови ту печаль.
То ж властолюбцы – тяжко виноваты.
А чем народ народу помешал?!

…Уже вон звёзды сыплются с Ковша,
Сложна загадка - жизнь до бесконечности.
А как подумать, - что же есть душа?
Как говорится, горизонт до Вечности.

Горчайших «раек» утром пожевали,
и вновь до самой ночи прошагали.

И вот пошли леса, сосной богаты.
Тут, говорят, разбойники и лоси.
Кого-то здесь зарезали когда-то, -
он в полнолуние кричит и просит.
Уже не слышу сказок страшных тех,
и не идут, подламываясь, ноги.
Лишь ночью – жутковатый совий смех
и чёрная Лубенская дорога.

И вдруг – от светлячков ли столько света?
Трухлявых пней искристые загадки?
Мигают всё , мигают… И – ни хатки.
Подходим ближе, видим – свечки это.

А на траве лежат под лесом люди,
сложили руки восковы на груди,
на лицах – небо, тьмою сплошь покрытое,
полуукрыты кто сачком, кто свитою, -
вы умерли или бедой убитые?

На пальцы оплывает жёлтый воск,
а лица – остры, и одежда – латана.
Мигают свечки, сосны пахнут ладаном,
а над дорогою шумит извечный лес.

Здесь робкое мельканье птичек кротких,
и воют волки в зарослях лесных.
Ну что ж, в ту ночь мы были между мёртвых,
а в эту - будем средь полуживых.
Но всё ж спокойней: зверь не подойдёт,
и перебудем до холодных звёзд.

Он жив ещё. Но в нём душа уж стынет;
Рукою дёрнул, - воском припекло.
- Откуда, люди?
- С голоду. С Волыни.
- С села какого?
- Вымерло село.

И голос - тише, и дыханье - горше.
Несхожи лица, а печаль одна.
- Куда вы, люди?
- Некуда нам больше.
И свечки, свечки, свечки… Тишина…

Дьяк говорит:
- У них там, на Волыни,
вобрали плачи горечи полыни.
Тот край – такая дивная краса,
а голоса, какие голоса!

Зато и жизнь там, Боже, твоя воля!
У них рубашки вышиты, как доля.
Такие там чудесные узоры –
а рукава белее всех снегов.
Как пустят нитку –
чёрным, чёрным, чёрным,
да по запястью в несколько рядов!

Проходит ночь… И свечи догорают…
- Ну, эти хоть нетрудно умирают.
Бывало, лишь пшеница наливалась, -
как забредут и наедятся так,
что, веришь, после в корчах извивались
и в смерть свою ползли на животах.

- Вот так. Тебе я надокучил, может, милая?
Послал же Бог попутчика болтливого!

Я складываю в душу все минуты,
и горько, словно за свою вину.
Хоть не имею на земле приюта,
но знаю землю вширь и в глубину.

- Вот вы бы взяли всё и написали,
и это был бы вашей жизни след.

- Я написал, так торбу-то украли,
папирусы – тю-тю, их больше нет.

А думали, что там таскаю брагу?
Иль золото, добытое в войну?
А начинать сначала что-то страшно.
Я постарел, уже не потяну.

Давно, как пух, мой волос перетёрся,
да и глаза уж начали слабеть.
Когда-то мысли в слове были скоры,
теперь же мысли - сами по себе.

Уже, наверно, скоро я умру,
а ниву словом так и не засею.
Хоть даже в рот я водки не беру,
но книгу написать я не успею.

Мои собратья все теперь солидны,
богаты щедрым урожаем слов.
Дурак последний – вот же что обидно,
всего достиг и преуспел давно.

А я, гусак общипанный, задаром
всё гогочу про правду и добро,
удерживая еле в лапе старой
одно своё гусиное перо.

Не надо денег мне, не надо славы,
иль чтобы сильный мира похвалил.
А лишь бы кто-то, мыслию преславный,
свой слух и взор навстречу обратил.

Но слушателей я не обретаю:
как сам пишу, так сам себе внимаю.

…А тополь гнётся, словно танцовщица,
ложится пыль в густой чертополох.
Дорога бесконечно вьётся-длится,
вдвоём нам славно, лёгок каждый вдох.

Вот он идёт, а я себе хромаю.
Он говорит, а я иду, молчу.
Уже на палку крепче налегаю,
прилаживая торбу по плечу.
А он идёт, милуется дорогою.
Он молодой, ему ещё не сто.
В одежде – книга за полой убогою,
и торба – словно кречета гнездо.

…Нащупывает посох грунт покрепче,
обрывы чаще скреплены корчами.
Лохмотьями цепляются за ветки,
идут из леса по пескам прочане.

Пески. Пески… А где он, тот причал?
А, может быть, дорога обманула?

Плывут, плывут кораблики прочан.
и ветром бед их паруса надуло…

И шла одна, закована в вериги.
В железном колпаке, совсем босая.
Сказали или вычитала в книге, -
теперь плетётся, Богу угождая.

В святые помолиться шла пещеры,
Да, говорят, издалека, с Печоры.
В пудовой ноше, а сама как мощи,
так и упала, не дошла до прощи.

Иль грешница, иль, может, так, - блаженна?
Присыпали. Куда ж её нести?
А Лавра вдалеке благословенна -
вечерний луч прибрала на кресты…

И вот он – Киев!
Воссиял крестами.
Пригасший взор красой заполонил.
Тут сам Господь бессмертными перстами
святые эти горы осенил.

Так долго шла, ждала так терпеливо.
И вот он, Киев, за валами, он!-
Тот стольный град и златоглаво диво,
души моей малиновый трезвон!

…И в киевские мы вошли ворота.
А что-то тихо, будто под чумой.
Дьяк говорит:
- А вспомни жёнку Лота
и не оглядывайся.
Киев мёртв, немой.

Я оглянулась. Не окаменела.
Пролиться не дозволила слезам.
Вот так прошло здесь войско Радзивилла! –
в руинах улиц затерялся храм.

У мёртвой звонницы – обугленные кроны.
Подол – немой. Никто не оживил…
В Литву себе присвоил наши звоны
Литовский гетьман Януш Радзивилл.

Всё сожжено, покинуто. И хмуры
стоят дворы, базары, винокурни.

Сады стоят, немые от пожара.
И нет людей, и кони не бегут.
Лишь уцелевшие бойницы башен старых
всё смотрят в небо. Пепел стерегут.

Вот это Киев, вот родное, кровное!
Залиты кровью досыта валы.
О, люди, люди! Божие подобие!
Ну, до чего ж вы землю довели?!

Дьяк говорит:
- Какая подобизна?
Когда земля дрожала от копыт,
навстречу Радзивиллу вышел Тризна.
Печерский пресвятой архимандрит.

И стал, седой. И преклонил колени:
- Короне польской брат одноколенный!

Вот ключ от города. И мы откроем Браму.

Литовский княже, только пощади
священный город и святые храмы!
Он, словно ножик в спину, заходил.

Он – в спину. А Потоцкий – в наши груди.
Богдан меж ними, как меж двух огней.
Что было тут! Рассказывали люди –
три дня, три ночи Киев весь горел!

…Стоял тот собор старинный да с выпаленной душою.
Во мрак мы тихо ступили, что дымом едким пропах.
Молились пустым окладам, на пепел икон молились,
Искали живого Бога в солнечных сизых столбах.

Лежали разбитые плиты осколками чёрной льдины,
и ангелы в белой одежде плотней обступили алтарь.
Кричали в трещинах стены. И недосожжённые книги
уличный ветер-бродяга пальцем холодным листал.

Перекрестилась, зарыдала
и тихо вышла из Собора.
Я шла на прощу, а попала
то ли в Содом, то ли в Гоморру.

…Уже стемнело.
Добрались до Лавры.
Узка тропинка, словно колосок.
Яры и рядом лес, дремучий прадед.
Яры - не страшно, лучше, чем песок.

А по ярам, по склонам той земельцы
землянки понарыли погорельцы.
Идёшь, глядишь: чудно! В вечерней мгле
дымок из норок стелется к земле.

Дьяк говорит:
- Во времена Батыевы
под землю люди уходили в Киеве.

Обжились все.
Один отгородился.
Сметали сено, - вот стожки стоят.
А кто-то в той землянке и родился, -
вон мокрое вывешивают в ряд.

И жизнь идёт. Как сказано у Павла:
«Вам жить благочестиво во Христе».
Ну, потерпи немного. Скоро Лавра.
Там отдохнёшь от переходов всех.

…Но вот когда дошли уже до Лавры,
настала ночь.
И у святых ворот
сидели люди, как улитки в раковинах,
втянувши руки, ноги и живот.
Ободраны, закутаны в тряпьишко,
не разберёшь, где нищий, где воришка.
И руки тянут, просят Христа ради.
Ведь люди тоже. Что им говорить,
когда, минуя хутора и грады,
сам три недели мочишь сухари?

Врата святые крепко закрывают, -
здесь оборванцев в Лавру не пускают.

В ночи ворота не гостеприимны,
напрасно возвышать тут скорбный глас.
Глас вопиющего в пустыне,
наверно, был слышнее, чем у нас.

Один бубнил. В падучей бился кто-то.
Сидели с дьяком до утра вдвоём.
И хмурых туч лохматая когорта
вертела в небе желтым медяком.

…А в день второй в пещерах побывали,
прошли по коридорам лагерей.
Поклоны били. В очереди ждали.
Тут, возле каждой свечки, - рой людей.

Печерский старец впереди идёт -
прочанам мощи в щёлочку показывать.
А я не знаю, где, не знаю, кто.
Так дьяк, спасибо, мне давай рассказывать.

Вот преподобный лекарь Агапет,
он исцелил когда-то Мономаха.
А вот – Алимпий, мастер на весь свет,
живописать талант был у монаха.

Вот – Нестор, писарь найславнейших дел.
Потомкам он оставил труд свой гордый.
Ведь он писал и в келии сидел,
а я ходил, когда украли торбу.

А дальше - всё святые да подвижники,
закрыты в кельях были, в тёмной тверди.
Так их Господь за подвиги при жизни
сподобил быть нетленными по смерти.

Мардарий – жизнь его была бедна.
А вот – Пафнутий, он не пил вина.

Вот – преподобный схимник Силуян.
Без шуму, крику, беготни и битвы
злодеев, что попрятались в бурьян,
связал в едино силою молитвы.

Вот Нестор, но другой.
Зовут – Некнижный.
В такой заслуге перед Богом стал:
всегда на всех богослуженьях бывший,
ни разу он при том не задремал.

А вот Сысой , он похоть превозмог.
Ходил он к речке в рваном веретьи
и раздевался с головы до ног,
чтоб комары кусали до крови.

Так были времена благофортунны,
что каждый Богу свой давал обет.
И каждый подвиг не остался втуне,
теперь таких подвижников уж нет.

Мои же мысли - у души на дне:
«Зачем на них молиться надо мне?»

Лишь те, без нимбов, безымянный тлен, -
на той дороге в Киев из Лубен.
Или вон те, под лесом, из Волыни, -
не больше разве мученики ныне?!

Стою. Краса днепровских склонов милых…
Сысой… Мардарий…Подвиги Ахилы…
Тут кровь лилась. Батый топтал пятой.
Сафроний…Пимен…Мученик…Святой.…

Дьяк рёк:

- У нас ни лиры нет, ни меры,
и разум за корягу зацепился.
Сысой. Мардарий – мученики веры.
А Байда – что, от веры отступился?

Одни слова, хоть бред словозакония,
а что сильнее подпирает твердь –
молитва преподобного Антония
иль Наливайка-мученика смерть?

Я тоже время проводил
в молитвах.
И думаю в земле чужесторонской,
что как же так, – те погибали в битвах,
а те - спасались на горе Афонской?

Трилесы взяты, сотенно местечко.
так то ж недавно, это – недалечко!
Десяток дней – под вражьим окруженьем,
ни жителя живого, ни движенья.
Местечко было… Ближе взглядом ищешь –
всё пусто. Тишина и пепелище.

Лишь ходит смерть с кровавою косою…
А ты пришла молиться тут Сысою!
Сидел подвижник, как медведь в берлоге.
А в Лавре книг печатается много.
Ты вон пройди под окнами печатни, -
страницы сохнут, дивно-величавы.
Там столько интересного, подвижного!
А он тебе про Нестора Некнижного!

Уже везде у нас есть школы братские.
Пол-Украины – сироты казацкие.
От Лихвицы и до самой Молдовы,
пол-Украины – то казачьи вдовы.
Детей без мужа поднимать – мученье,
А ни защиты нет, ни вспоможенья.
Такие горькие, и все-то обездолены.
А им опять – про подвиги Февронии.

Наверно, ты была тогда малою,
как пролетала та звезда с метлою.

В тот год, когда звезде той показаться,
распяли пятерых старшин казацких.
И головы их там,
откуда родом –
поставили перед народом.

Одна из жён – хорунжего иль сотника,
там, под столбом, лежала нежива, -
да можно ль ей про Симеона Столпника,
как на столбе сплетал он кружева?!

…Ох, не такой уж я была малою,
когда звезда летела над Сулою.
Так то же про отца, про Чурая.
И матерь там лежала так моя.

Была зима. Как раз после Крещенья.
Людей полтавских - всех туда сгоняли,
чтобы себе смотрели в наущенье.
А мама – косы с снегу примерзали…

И навсегда! – пока что я жива,
в глазах тот снег…коса…и голова…

- Чего ты плачешь? – дьяк меня пытает.

- Да ничего…
А листья облетают.
- Так, - говорю, - заплакалось само.-
Толпа из церкви к выходу стекает,
мы всё сидим и думаем одно.
- Я начал, – говорит, -
черстветь с годами.
Уж вечереет. Что ж, давай, пойдём.
А там, за монастырскими садами,
есть, говорят, странноприимный дом.

…Нашли тот дом мы на задворках Лавры.
Из досок сбитый стол и струганые лавы.

А духота, как ведьмино дыханье,
и в плошках чуть не гаснут огоньки.
И богомольцев целое собранье;
снуют, как будто рыбьи косяки.

Дьяк, пошатнувшись, говорит:
- Послушай,
в степи, в лесу пришлось перебывать.
Но под забором в поле где-то лучше,
чем вот в таком вертепе ночевать!

И мы ушли, да так себе, под небом
сухой листвы немного нагребли.
Лежим и смотрим звёзды на потребу.
Вот, говорим, свободу обрели!

Нам ветер вольный в этой полночи
гнездо раскачивал воронячье.

В прорехах - свод, земля сыра,
и тянет холодом с Днепра.

Всё б ничего, и так бы мы и спали.
Что может крепче сна с дороги быть?
Монахи нам на ноги наступали, -
звоночками наутро шли будить.

А вот один идёт из-за собора,
волочит рясу сзади за собою.
Другой - через канавку, напрямки,
и собирает в кружку медяки.

- Вот это сон приснился мне в столице, -
промолвил дьяк, присев на пень бочком, -
что варишь ты вареники в кринице
и листья собираешь дуршлагом.

Хотя вздремнул, конечно, знаменито.
Что ж, можно спать и здесь, сама скажи,
когда бы мне не ставили копыто
на грудь вот эти праведны мужи.

Пошевелив рукой сухие листья,
достал из торбы щепоть табака:
- Вот клятые дурные черноризцы,
сон перебили. Посижу пока.

Сижу, смотрю, - уж век прожил на свете, -
на то гнездо в сплетеньи верховетья
и думаю: ты глупый человек,
что вот прожил на свете целый век
и, душу обязав на сотню дел,
себе гнезда так свить и не сумел.

…В селе, что звалось, помню, Черногайцы, -

двадцатый год тогда я разменял, -
хотели окрутить меня на Гале,
но, слава Богу, вырвался, сбежал.

А было раз, - за Чертовою Греблею,
под Киевом, вот тут, на Ирпене.
И вновь я тихим уголком побрезговал,
тогда уже под сорок было мне.

Любил я панну,
Птимченко – Заглобску,
воздушный замок строил для чудес.
«О рани Езу, пан муви по-хлопську!» -
сказала панна. Я упал с небес.

Так мне и надо. Счастье как погода.
А нету счастья – можно жить и без.
В душе ведь, кроме видимого свода,
одиннадцать ещё других небес.

Был регентом и был я канархистом,
любил людей. Толпа ж - не по уму…
И отличался я крамолой чистой:
несклонностью к духовному ярму.

Познал любовь, и ненависть, и жалость,
горячий был, и яростный, и злой.
Когда-то жил. Теперь я разминаюсь
с людьми и с небом, став почти золой…

Дорога есть, она мне в радость только.
А дьяку – счастье, если не зимой.
В природе как? Чирик – и сразу в щёлку!
А как же быть, коль щёлки нет самой?

Бывал везде. Душа гола и боса,
прошла тернисто множество земель.
И брагу пил, добытую из проса,
мальвазию, и также мушкатель.
В тюрьме Варшавской пережил я плен,
жевал я в Праге хлебный горький тлен,
в Молдове ел я сладкий виноград,
ногами мерил всякий Семиград.
Но всё ж, в какой я ни был стороне, –
всё время что-то плакало во мне:
Вернись и доживи век дома свой,
в родную землю, где ты всем чужой…

Бродяга-дьяк, всё по свету тащусь я,
не нужен ни семейству, ни родне.
Тебя вот встретил, и теперь я чувствую,
что на душе теплее стало мне.

Вернёшься скоро, девушка, ты к дому,
в Полтаву, к берегу родной реки.
А там, наверно, хлопцу молодому
давно твои уж снятся рушники.

Счастливится же людям! Мог иначе.
Не был бы одинокий, сам не свой,
когда б хоть раз в судьбе своей бродячей
я повстречался с девушкой такой!
Исчезну вдруг – не надо удивляться.
Боюсь печали, чтоб не привязаться.

…Там в било бьют обычаем пустынным,
такой теперь вот это в лавре звон.
Давно уж преподобные так били, -
прадавний лес стоял со всех сторон.

Когда ещё в разбойничьих пещерах
валялись просто кости или череп.
И не было ни стен там, и ни брам,
а лишь на срубе заросли малины,
и первый ветхий деревянный храм,
там был престол – из камня да из глины.
Теперь при Лавре – где уж те леса!
Где тишина молитвы над лесами?
Один лишь Днепр, - и вечность и краса, -
течёт в лугах одних и тех же самых.

А над Днепром, на той святой горе, -
тут целый город с башнями и рвами,
с надбрамными солидными церквями,
с монастырями при монастыре.

Аж страшно. И стоит новоприбывший, -
найти нельзя, покуда не узнал.
Тут столько келий – много улиц длинных,
одних церквей - на несколько Полтав.

Когда б не дьяк, то как бы я бродила?
Он знает всё, откуда, что и где.
… Пустынник снова бьёт в пустынно било,
в пустыне этой – тысячи людей.

Тут чуть ли не ползком ползут иные.
Услышит нас Господь такой толпой?..
В параличе, слепые и немые.
И каждый возвышает голос свой.

А я пришла с такого дальнего!
Старинная, сказали, есть
в больнице – церковь госпитальная.
Врата святые – где-то здесь.

Давно-давно, при всех превратностях,
когда-то дал начало ей,
при Лавре, будучи привратником,
сам – из Черниговских князей.

Так люди всё идут поныне
и говорят, что легче в середине,
когда помянут просто в ней,
средь этих праведных камней,
своих умерших…
Надо, чтоб
развеянного по ветру отца
и мать, которую свела я в гроб.
Те имена, произносить которые…
Гордея…Анну и Григория…

Да мне б молебен отслужить.
Живая, надо как-то жить.

* * *

А ночь последнюю почти уже не спали,
и нам опять на ноги наступали,
и кашлял дьяк, и дождик моросил,
и столько, видно, грязи размесил!

Вздыхает дьяк, бормочет:
- Эх, какое!
Холодный свет, а пусть ему лихое!
Приходишь в мир ты чистый, молодой,

уходишь – весь измученный, седой…

Наверное, под утро я заснула.
Так вдруг меня усталость обернула! –
какой короткий, обморочный сон…
Проснулась я от карканья ворон.

Проснулась: небо, старая стена.
А дьяка нету. Тихо. Я одна.

А на груди моей лежит обнова:
платочек красный с веточкой терновой.

И утро было, дождик моросил,
и дуб листвой платочек притрусил.

Пора и мне. Пора и мне, пора.
Пески, пески… И синий лик Днепра…

И лес… и путь… и явор…и криница…
Куда? Кто ждёт меня там,
кроме Гриця?
Кричат ключи, печально журавлиные.
Кому, зачем и что мне говорить?
Пойти под лесом лечь, как те с Волыни…
И догореть… И свечка догорит…

Разматываю вновь свою дорогу.
На богомолье - помолилась Богу,
купила в Лавре несколько свечей.
Хорошего я человека встретила.
Из всех немалых дьяковых речей
однако, чаще вспоминаю эту я
и утешаюсь, чтобы не скорбеть:
«Кому-то в мире хуже, чем тебе…»

Опять те сёла, словно сплошь – могилы.
Вновь ближе, до Лубен, - как прах имён:
Григорьевка. Семёновка. Панфилы.
Святой Григорий… и Святой Семён.

ДЕДОВА БАЛКА

Раздел 7
Зима дырявы крыши подлатала,
снега цветные стелются в полях.
На все врата закрытая Полтава
дозор казацкий выслала на шлях.

Немного их, но зорки эти очи.
Меж ними Искра и Лесько Черкес.
Снега, снега… Следы там только волчьи,
пустая степь и тишина небес.

Грызут удила кони в нетерпенье.
Рывками ветер снег в горсти несёт.
Снега, снега… С какого же хотенья
Так тихо всё? И так тревожно – всё?

У хуторов прикаянность глубока.
В Полтаву кто-то там бредёт с мешком.
И даль окрестная на все четыре бока
Перекрестилась чёрным ветряком.

Старинная Полтавонька, Олтава!
Ты всё равно сегодня молода.
Ох, сколько звонов здесь голосовало,
когда тебя пустошила беда!
И как летали стрелы половецкие,
и клекотали по степям орлы!
Минувших лет все праздники мертвецкие
тебя молчанием обволокли.

А что осталось от твоей породы?..
Безлюдных дворищ нищенские сны,
меж пепелищ – в забросе огороды,
где дикие порылись кабаны.

И вновь на месте, разнесённом в клочья,
несеяные, как весной – трава,
пробились люди и протёрли очи:
Полтавонька, ты всё-таки жива?!

С плакучих верб слезой стекла на воду
вся горечь отболевших прошлых лет.
Из нор подземных битую свободу,
поддерживая, вывела на свет.

Позаростали травами руины,
и вновь на голос твой – печали гнёт.
В твоих лесах, над водами твоими
своим богам молился князь Витовт.

Летели дни. Ты старилась с годами.
Стремилась в небо и врастала в грунт.
Тебя обнял железными руками
чужой король, несытый Сигизмунд.

И снова, снова, снова ты под бремя!
Иль мы уже с неволей заодно,
Что Вишневецкий, выродок Ярема,
твой собственный палач, запряг в ярмо?!

И снова запад – цвета багряницы,
надежду ввёл в отчаянье обман.
Где пал Павлюк, там вырос Остряница,
все наши цепи разорвал Богдан!

И снова горе. Года не прожили, -
как в Белой Церкви договор сложили.
Забросили поруганную славу,
и снова панство поползло в Полтаву.

Тебя поставить на колени лестно,
чтоб ты была рабою, как тогда.
Вон снова люди с хуторов окрестных
под наши башни тянутся сюда.

Идёт, бежит, стекается живое,
коров сгоняет, ковыляет прочь.
О древний город с вечным непокоем,
тревожная тебе досталась ночь!

…Дозор казацкий проверяет шлях –
до горизонта пустота в полях.
Теперь паны пускай идут облавою,
уже стоят, покинуты, дворы.
Людские гнёзда за Полтавою -
лишь одиночки-хуторы.

Пустыня, степь:
ворон голодных сварки…

Никто, нигде, ни с кем не говорит...
И лишь дымок там, из Дедовой Балки,
курит себе тихонько да курит…

Там дед живёт, тот самый дед Галерник,
отшельник вечный и почти бессмертник,
который двадцать лет провёл в неволе,
давно вернулся, но ещё теперь
чтоб он ни мастерил, опять невольно
выходят сотни маленьких галер…
И сольницы, и ложки, и лопатки,
и разные горшочки да прихватки.
Никто, как он, не сделает так ловко
нарядную, в узорах, салотовку.

То вынесет в Полтаву, то по сёлам -
когда не дождь и не метель – ищи.
Вот так в галерах дедовых весёлых
Полтава заправляет все борщи.

Не видно ни души по всей округе,
и только с Балки Дедовой тот дым.
Наверное, теперь в своей лачуге
у нас в степи остался он один.
- Эй, дедушка, вы от дороги близко.
Эй, дедушка, ну, как вы там, живой?

- Да то сказать, не первое же войско
по голове моей пройдёт лихой!
Придвинул пень - такой рабочий столик -
и сел, из липы мастерит половник.

Тепло так в хате. Пахнет древесиною.
Дом полон и кореньев, и резьбы.
Под потолком, меж маком и калиною,
кусочки липы и сухой вербы.

Сказал Иван:
- Предупреждали раньше,
ещё до лета холода терпеть.
Здесь будет войско. От беды подальше
в Полтаве лучше вам пересидеть.

- Зачем же людям лишняя морока –
сиденье сиднем на чужой печи?
Есть у меня свой угол, слава Богу,
свой домовой, свои вон рогачи.

Хоть и зима, а дома как-то легче,
и домовой со мною домовал.
А он вчера сидел себе на печке,
смеялся, плакал, ручку подавал.

Когда б я мог и вправду пригодиться…
А мне про саблю думать не годится.

А раньше был и я вояка бравый,
Трёх сабель след – пометки
бывшей славы. –
И снова взялся дальше делать ложку:
- Вот так и доживаю понемножку.

Спокойно смерти дожидаю,
последнюю от Бога весть.
Вот я половники строгаю,
да нечего же людям есть.

…Сидели тихо. И душа молчала.
Бывает, тяжело найти слова.

Горело в печке, как в вулкане – лава,
потрескивали весело дрова.
Мелькали в красном пламени химеры,
у мастера в руке блестел резец.
По хате плыли крошечки-галеры:
черпалка, салотовка, поставец…

- Ну, кто про что, а я про Наливайка…
Она поёт ещё или молчит?

- То уж не песни – вопль подбитой чайки.
И не поймёшь: то ль стонет, то ль кричит.

В ней что-то вроде кануло навечно.
Пришла из дали дивна и горька.
От взглядов убегает человечьих,
не хочет в хату никого пускать.

Ей ничего не надо. Замолчала.
Чужое всё. Здоровья тоже нет:
паломницей - под небом ночевала;
то бедность, то тюрьма во цвете лет…

Не дай Господь, но, может, и чахотка.
Я всё боюсь, что хлынет горлом кровь.
Не принимает никакой заботы,
а в хате голо – хлеба нет и дров.

- Вы как родной ей, дедушка, ну как же,
неужто и погибнет так сама?

- В такой беде никто совет не скажет.
Совета нет. Не хочет принимать.

Чего ты ворот рвёшь? Тут разве душно?
Постой, ведь это ничего не даст.
Главней всего – была бы сила духа,
и выходом судьба тебе воздаст.

Душа твоя обязана крепиться,
а слёзы не годны для казака.
Отец твой был, Иванко, Остряница, -
достойный гетьман после Павлюка.
Ты ж сын его, и душу не загубишь.
Не должен, слышишь? Ты ж таки не Гриць.
А время пусть пройдёт - и ты полюбишь.
Преславен род полтавских Остряниц!

- Да может, будет Ганзя или Настя,
иль сына даст мне Бог во цвете лет.
Но только мне не видеть в жизни счастья,
пока живу и вижу белый свет.

Мы с нею - одного навеки корня.
Один, наверно, аист нас принёс.
Отцы у нас – бесстрашны, непокорны,
и поседели матери от слёз.

Прошло то время, грозы отзвучали,
Другое зло скрестилось на мечах.
А с нею – дети мы одной печали,
себя читаю я в её очах.

Проходят ночи думой, полуснами.
И жизнь моя уходит в забытьё.
Она же – в песне мыслями, словами,
и остаются песни здесь её.

…Кончался день. Печально-тонколика

смотрела Матерь Божья из икон.
Огонь горел, потрескивая тихо,
бежала струйка нежным ручейком.
Кот выгнул спину полосатой дужкой,
мурлыча тихо, снова лёг на стружку.

В подслеповатой хатке видно плохо:
промчался кто-то – балка спит глубоко.
И только снег осыпался нарядно.
- Эгей, Иван, уже поляки рядом!

- Вот мы немного и притрём им роги.
А вы живёте здесь, возле дороги, -
сказал Иван, взглянув на подоконник.
А дед себе всё стружит тот половник.
- А никуда, Иван, я не поеду.
Окрепнет скоро Ворскла в берегах.
И ляхам тем - что за пожива с деда?
Живу тут, как закопанный в снегах.

- Смотрите, дедушка. Идут ватаги.
И ни души кругом в защиту вам.
- А жизнь вообще – игра в такие драки,
туда-сюда, глядишь – уже и там.

- Что ж, не серчайте.
- Да за что сердиться?
Мне что литовец, турок, то и лях.
…Над самым краем занялась зарница,
и конь из балки вылетел на шлях.

Уж в небе месяц выставил рогульку,
и на пороге – ледяная твердь.
А дед закурит корневище-трубку
и долго будет вслед ещё смотреть.

И будет слушать в тишине богатой,
как затаился ближний хуторок.
Жар выгребет из печки, чтоб до хаты
никто чужой не шёл на тот дымок
…Залил тот жар и головешки вынес.
Ты, кочерга, - до места своего.
Так походил немного, поразмыслил,-
оно, глядишь, как будто ничего…

ОСАДА ПОЛТАВЫ

Раздел 8

Степная ночь. И вьюга над степями.
Полтавский шлях снега перемели.
И вражье войско ломится у брамы.
Ворота глухи. И молчат валы.
Стоит обоз уже по грудь в заносах,
и льдом успели сани обрасти.
Терпи, Полтава. Помолись за мёртвых, -
там вражьи кони въехали в кресты!

Полтава спит. А панство – чуть не в гости.
Споткнулся конь. То ямы, то горбки.
Кресты, кресты…

И тарахтят, как кости,
на тех крестах с мороза рушники.
Сечёт метель, как тысяча иголок.
Полвойска не удержишь на ногах.
И старый тополь, чёрный весь и голый,
ворон качает прямо на гробах.

Проклятья шлют от злобы и бессилья.
К Полтаве наконец приволоклись.
Растяжка войска - на четыре мили,
хоть головою бейся об валы.

Пришлось и им слезами умываться.
Тут Бог не сеял с неба им крупы.
Протянешь руку – и не видно пальцев,
метелица кружится по степи.

Порывы ветра, вой остервенелый…
Попробуй-ка костёр здесь развести!
А лес – далёко. Топорища - в дело,
или палить на кладбище кресты?

Но это как-то не по-людски всё же.
Тут надо перейти на тихий ход.
Тут надо мирно. Переждать, быть может.
Противники – несдержанный народ.

Как ни кричи, как браму ни выламывай, -
есть договор, так впустят. Но когда?
…А высоки валы. Что за валами?
Молчат они. И глухи ворота.

А утром, чуть светало на опушке,
казалось, ни души! Теперь, смотри:
уже стоят наведенные пушки,
и на лафетах – мирно! – пушкари.
Никто с панами не заводит ссоры,
и, словом резким бранным не греша,
кто курит носогрейки на просторе,
кто набивает порох не спеша.

А стража на часах стоит как раньше,
как будто их занятье – сторона.
В одеждах чёрных, в шапках сплошь лохматых,
обивка – из овечьего сукна.
Никто и никому не угрожает,
почти без сабель вроде молодцы.
Лишь на валах казаки восседают,
а за щитами залегли стрельцы.

Покрылось панство инеем от злости,
уже устало хрипло проклинать.
Кричат, стучат, ворота в прах разносят.
Ворота те – железные. Стоят.
Вот так шумело это всё немало.
Их старший - злей и громче всех кричал.
И вот от Пушкаря казак с большого вала
им на колу подал универсал:

«Панове! Вы и мы – то равных два народа,
мы – вольные теперь, в боях решили спор.
Вы, значит, принесли для нас свои клейноды
и своего орла. Зачем нам ваш орёл?

Наш полк – на полковом законном месте,
стоим мы крепко на своей земле.
А кто такие вы? Стояли бы на Висле.
У нас тут гетьманат, а вы – при короле.

То были б мы и вы таким порядком дома,
так было б нам и вам не биться в стену лбом.
А договор? Какой? Нам это не знакомо.
Оповещаем вас про то печатью и гербом.

К тому же, вы таки пощипаны войною,
имеете харчей так мало про запас,
что если с дракою полезете какою,
то место этих битв –
свидетель против вас».

…И замерли секунды на столетья.
Полтавский полк, как вкопанный, стоит.
Дозорные беспечны, словно дети.
Курящий трубку, сам Пушкарь молчит.

- Когда всё сделать так, как им угодно, -
дозорные решали на валу, -
последний этот островок свободы,
Полтавщину, - опять же в кабалу!

Мы столько натерпелись от войны,
чтобы вернулись вновь сюда они?
И чтоб в Полтаве, да на славном месте,
стояло шляхты на углу по двести?!

И так живём, что нечем и дышать,
что приласкать жену уж не в охоту.
Так мало своего нам Вишняка,
ещё нужны нам эти живоглоты!

Впустить в Полтаву войско, это панство?
Э, нет, спасибо, нету дураков.
Сейчас им в руки если не даваться,
отсюда после их зажмём с боков!

Уже скучает кто-то от безделья:
- Хотя бы солью иль пшеницей стрельнуть!

Гук-атаман, что правит словом ловко,
в дорогу им сулит сухого волка.

Один Горбань дрожит, от гнева лют:
- Есть договор! И нарушенья бесят!!!
… Он думает: а вдруг они войдут?..
То раньше всех - правителя повесят!

Вишняк - на изворотe, важный пан,
панов любых он перещеголяет.
Вчера, видали, примерял жупан.
Идти послами к шляхте предлагает.

Но всё ж полковник не ведёт и ухом.
Он мыслит: «Ляхов я переморю!»
Лесько сказал:
- Одним как бухнем бухом!
Пушкарь сказал:
- Я вам поговорю!

Тут главное – спокойно и без крови.
А там начнутся ночи Сильвестровы.
А там Крещенье, праздник Головы…
То, хлопцы, перемирье до травы.

…Иван стоял
и дум не мог собрать.
Всё было перед ним как на ладони.
За снежной пылью войска не видать.
Так жаль коней, такие были кони.

Куда ни шли, забрали под седло.
Стоит зима, морозы иордански.
Ишь, сколько панства с ними нанесло!
Один прибыл сюда в карете гданьской.

Есть немцы. Тоже рыцари тевтонские.
И всё кричит, кучкуется, орёт.
Свалить мечтают стены ерихонские.
Не выйдет. Крепок вал. Не упадёт.

Вот только балка от дороги близко.
- Эй, дедушка, вы там ещё живой?
… И то сказать: да первое ли войско,
что у него прошло над головой?

Плывут над степью облака лохматые.
Дед как-никак, а всё-таки живёт.
Всегда один. И домовой есть в хате.
Смеётся, плачет, ручку подаёт.

А на отшибе, памятью несладкой,
стоит остывшая за зиму хатка.
Над Ворсклою, над теми яворами,
уже никто не светит вечерами.
Лишь огонёк мигает на горе.
Там, видно, Бог живёт в монастыре.

Уже забыта Богом и людьми,
Маруся под защитою зимы.
И в снежных завываниях метели
у хаты виден только крыши верх.
Калиной кормит пташечек несмелых,
ей кажутся они несчастней всех.

И редко-редко простучат копыта.
И там до хаты тропка не пробита,
и в аистином снег лежит гнезде,
и льда на полбадьи намёрзло здесь.

Хотя бы вышла в церковь да на люди,
а то неужто так одна и будет?
Всё кашляет, с надорванною грудью.
Стоит зима. И так коротки дни.
Сторожевые светят лишь огни.

Ежеминутно полк стоит готовый.
Иван молчит. И дум венец терновый.
И лишь звенит болючая струна:
ну, что Маруся, как же там она?

…Да ничего. И жаловаться грех.
Я разве всё-таки несчастней всех?

Живёт же вон Ящиха Балаклейская.
А голосила года полтора.
И муж её ведь не вернулся с войском,
она жива, и ей не умирать.

Вот так и я привыкну, будет житься.
Никто и не увидит, как тужится.

Но только я вдова не Балаклейская.
Муж у неё не возвратился с войском,
а сгинул он, убитый молодым.
И можно вечно плакать ей за ним.
Счастливая Ящиха Кошевая!
А я…Кто я? И по кому вдова я?!

…Так и живу, как облачко, непрочно.
Вся облетаю, как осенний лист.
То мышка пробежит из уголочка,
то дров подбросит дядька Шибилист.

Не так уже печаль непобедима.
То как-то я и выстою за зиму.

Так, сплю - не сплю, скрутившись на печи,
а пёс всё воет на луну в ночи.

Иван – за руку, будто ледяную:
- Пойдём со мной, судьбинушка, пойдём!
Когда бы стала ты моей женою,
какая радость осветила дом!

Не повернула даже головы.
Печально глянула из-под брови.
Тяжёлый траур шёлковой косы,
и только тень забывчивой красы.

- Кого же ты любишь, Иван?
Меня
или свою память?
Красивой была я, правда?
Похожей на свою мать.
Смелой была я, правда?
Похожей на отца.
Певучей была я, правда?
Похожей на свой народ.
А теперь моё лицо скривила
судорога боли.
Я умираю. Вот.

Сама для себя умерла,
И ты, Иван, это знаешь.
Осталось что от меня? –
так это уже не я.

Ты любишь не эту, Иван.
Ты память свою лелеешь.
Счастливый будь ею, Иван,
ведь память всегда твоя.

- Я и тогда любил тебя до боли,
сейчас ещё сильней любить готов.
Дозволь же мне, остаться дай с тобою.
Вот так, как есть. Без слов и без сватов.

Пойдём же в церковь. Поп нас обвенчает.
На свадьбу Пушкаря мы позовём.
А не полюбишь – у меня хватает
любви двоим. И как-то проживём.

- Меня, Иван, - вот эту, покалечену?
Меня, Иван, - истлевший горький цвет?
Пусть Бог пошлёт тебе получше девушку,
и будешь ты счастливый много лет.

На этом хватит. Больше не зови.
Не надо вспоминать про горький плод.
Ведь жизнь моя – развалины любви,
здесь ничего уже не расцветёт.

- Последний плод на Чураевой ветви,
жестоким громом выбит и спалим!
Хотя бы ты оставила на свете
ребёнка с дивным голосом твоим!

- Уж не оставлю, так судьба хотела.
Конец всё ближе, жизни всё равно.
А если б я теперь – да вдруг запела –
хрипенье только вышло бы одно.

Так и живу. Без голоса, немая.
И песен нет – а, значит, умерла я.

…Вот это только дорогое самое:
моя мамуся, мама моя, мама! -
вон та могила, деревянный крест,
и на деревьях всё бело окрест.

Жила, трудилась мама, словно пчёлка.
Теперь же тут осталась я одна.
Холодная постель стоит в светёлке.
Всё так, как было. Только нет уж сна.
Её убила я! Её, хорошую,
карай себя уже иль не карай.
Прошу, Иван, чтоб не было заброшено,
пойди, с могилки снег поубирай.

Идёт Иван, чтоб снова возвратиться
и мысленно могиле поклониться:
и город, и погост враги обсели –
в кольце уже четвёртую неделю.

И рубят, звери, пушкарёвский лес,
трещат и стонут, валятся деревья.
Там и село за лесом, Пушкарёво.
И стонет, стонет Пушкарёвский лес!

Со старым вместе валят молодое –
давай сегодня, завтра – как не жить!
А рубят криво, косо, бестолково!
Чужое портить – не своё рубить.

Что день, что ночь – всё рубят, аж гудит!
И с вала видно – волокут к дороге.
Зверьё попутно начинают бить,
глядишь, медведя выкурят с берлоги.

- Сто лет росло, тянулось до небес.
Полковник! Это ж провалиться надо,
чтоб так стоять, смотреть, как рубят, гады,
калечат люто Пушкарёвский лес!

Пушкарь молчит. Взглянул - и ничего.
Спокойны очи,
Голова седа.
В накидке жёсткой цвета ночи.
- Трава б скорей. А после – не беда.

…Над валом ночью зарево играет,
и пахнет пепел долею Трилес.
Как дикий зверь, обложена Полтава,
костры по кругу – Пушкарёвский лес.

Горят костры. И панство жарит вепря.
Как старого поймали секача?
Сидят, как будто выходцы из пекла,
и все - паны полтавского ключа.

Сидят в снегах, и в этом мельтешении
лелеют глупый свой победный бред.
Сидят, как будто дьяволовы тени,
и окружает их пурпурный свет.

Одни могилы чёрными крестами

костровый тихо обступают круг.
Метелица никак не перестанет.
кружится привиденьями вокруг…

Поскольку мир,
Стрелять же невозможно.
Лесько от холода всё топчется, как бес.
Играют трубы. Свора та вельможная
сама с собою пляшет полонез.

Мол, хорошо им. Казакам в досаду.
Мазурку собираются играть.
Мы выдержим. Танцуйте до упаду.
Но первыми они начнут стрелять.

…Стоят вельможны. Дело затяжно.
И кажется, что будет так до веку.
Лесько смеется:
- Голод подожмет,
и завопят им черти «ку-ка-ре-ку!»

И веселей Леська, наверно нет,
и бедам поддаётся с неохотой,
хоть сиротою он пришёл на свет
и только на чужих всегда работал.

Так прикрутило с малых лет его!
Тычки с пинками надоели крепко.
А тут война, не мир. И ничего.
Кому – табун, а у Леська – ни щепки.

Ох, вдовий сын с мечтательной душой! –
уж выходила сотня из Опешни,
а он бежит за ними, как дурной,
да со своею думой неутешной,

что как же так, в поход ему пора,
семнадцать лет, а он сидеть здесь будет?!
Коня б занять, а нету – так украсть,
а саблю он и в битве раздобудет!

Поймал хозяин – где там улизнуть! -
и в суд привёл с конём воришку силой.
Тот объяснил, что торопился в путь
и не сказал хозяину «спасибо».

Подумал суд и рассудил их так:
не деньги крал он и не с огорода.
Идёт война. А что ж то за казак,
раз лошадь не имеет для похода?

Ему хозяин вовсе не родня.
А хлопца так работою мытарит!
Не заработал своего коня –
тогда хозяин пусть ему подарит.

Теперь он славный малый при коне.
И храбрый, и походы видел разные.
…Лесько сказал:
- То разве голод? Нет.
А просто пост. На то они и праздники.

А дни идут. Их набежало много.
Привыкли. Близко уж до рождества.
Со всех сторон отрезана дорога.
Полтавонька, ты всё-таки жива?!

Уж начали ходить на вечерницы,
хотя беда – не сват, не кум, не брат.

И девушки смеются у криницы,
и парни возле девушек стоят.

Грицькова мать смирилась, притерпелась.
Гук-атаман взывает на валу.
Шинкарке Таце погулять хотелось –
так за разврат урезали полу.

Воскресный был базар.
И чем ни торговали,
а всё-таки – воскресный был базар.
Толпою бабы утку продавали,
кто вынес мак, кто рыбу, кто узвар.

И видел кто-то каравай и сливки,
Дзизь даже душу где-то окропил.
Лесько, продав шикарнейшую гриву,
себе пищаль винтовую купил.

Зато материй было на базаре! –
зарбаф, штамет, обьяр и алтабас.
Зачем шелка и эти мухояры?
Купить бы где китайки про запас.

Ещё там были пряности, приправы,
и, как на грех, хорошего - всего.
Шафран и перец, - разве что к отраве?
Или горох мускатный. Для чего?

А может, имбиря? Иль кардамона?
Заморский цитрус – грош ему цена,
когда сегодня золотом червонным
дают за горстку прелого пшена.

Такой Свят-вечер, нету и кутьи.
Стоит Иван. Крупа над валом сеет,
- Чего стоишь один, на забытьи?
А стрельнет кто?
- Не стрельнет. Не посмеет.

Был у Маруси. Снегом замело.
Пришёл. Что рада, мне не показала.
А на Свят-вечер так с лица упала,
что даже тень как будто унесло.

Молчит Иван, темнеет весь лицом.
Дорога, поле. Поджидают беды.
И каждый миг здесь может стать концом,
а может – и началом стать победы.

…А после Рождества, раненько-рано,
панове шляхта дружно удирала.
Вот нагрузили с вечера горбы,
и без угроз, без лютой похвальбы
тихонько снялись – да и дали ходу.
Теперь хотя бы кладбищу – свобода.

Пока они толпой под валом бегали,
ворота эти ступою толкли,
а в спину им - с Брацлавщины, с Чернигова -
восстания пожары припекли.

Должны теперь забрать свои заставы,
наверное, не только от Полтавы.

И отступили – на полях тех самых.
За ними - панство на богатых санях.
И следом – ксёндз, не бритый много раз,
закутанный в тряпьё до самых глаз.

Хвалёные вояки заскорузлые
теперь хвосты поджали, словно псы.
Укутанные меховыми струпьями,
простуженные прятали носы…

И день прошёл, и горизонты меркли.
Уже людей дорога набрала.
И робким звоном примогильной церкви
живой Полтава голос подала.

И что-то там темнеет на опушке.
А при дороге, символом примет,
стоит покинутая пушка,
чугунный львовский фальконет.

Где конный след – там заскакали галки.
Вечерний лучик скоро догорит.
…И вновь дымок из той
Дедовой Балки
Курит себе до неба и курит!

ВЕСНА И СМЕРТЬ, И СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Раздел 9

Весна пришла, да как-то так нежданно!
Зима стояла крепко до поры,
ветра дохнули с юга. И тогда она
как будто в Ворсклу съехала с горы.
И половодье снег ещё глотало.
И плуга ждал земной тяжёлый стан.
А вишня под горой невестой встала,
уже к веночку меряет туман.
День удлинился.
Легче стали тени,
как будто чёрный откурил дымарь.
И дикой груши белое цветенье
над целым полем светит, как фонарь.

Уже детей порозовели личики.
Уже дождями пашня налилась.
Везде трава, травиченька, травичка!
И теплота от солнца разлилась.

А вот уже и сеют что-то в поле,
далёко песни вечером слышны.
И горлица аукает на воле,
неспешно в речке плавают лини.

Тут, возле нас, зелёненькая балочка,
там – озеро, ему не видно дна.
Голубенькая здесь живёт «рыбалочка», -
нос у неё длиннее, чем она.

И дикие уж гуси пролетали,
и лебеди кричали сквозь туман.
В болотах ходят около Полтавы
ходуличник, крохаль и турухан.

Воскресли люди. Хоть и много кволых,
похожих на видения пока.
И монастырь в цветениях весёлых

плывёт сквозь розовые облака.

Господь великий и души, и плоти!
Впервые улыбаюсь я, прости.
И даже почка на гнилом болоте
всё набухает, хочет расцвести.

Весна пришла. И нету договора.
И Украина снова вся в огне.
Цветёт земля, полна свободы скорой.
И даже жить так хочется и мне.

Как чудно в хате! Как просторно в сенях!
Как оживают нивы и сады!
И, чтоб оставить что-нибудь на семя,
на Пасху ели хлеб из лебеды.

И снова аист молится наш серый,
и урожай задуман – в добрый час.
Есть горстка ржи. И мака есть полмеры.
Есть чернобривцев, кажется, запас.

Земля, спасибо за твои щедроты!
За белый свет, за бесконечность дней!
Пришла весна. Чахотка есть чахотка…
И только хуже всё и хуже мне.

От кашля всё в груди так наболело,
из холода бросает в жар. Ну вот,
и бабушкины бусы побелели,
как будто сизый иней в них живёт.

Как странно: жар, а холодеют руки.
А соловей щебечет, как шальной.
Вот одиноким – никакой разлуки!
Чахоточным везенье – мрут весной.

Да только жаль – я песню не поймаю.
И огород зарос – не прополю.
Я ночи - словно смерть, переплываю,
а жизнь, как лучик солнечный, ловлю.

А дни стоят – не хочется тужить!
Над гнёздышками птицы всё воркуют.
- Скажи, кукушка, сколько ещё жить? –
Она кукует… Целый день кукует…

И был Иван. Так, посидели молча.
Пошёл и оглянулся у ворот.
Лишь первые проклюнулись листочки,
а снова гетьман их призвал в поход.

И трубы заиграли вновь к походу,
стрельнуло громом с Тясьмина-реки.
Богдан повёл казацтво за свободу,
универсал послав во все полки.

- Опять земля запенилась в борьбе.
И вновь принадлежу я не себе, -
сказал Иван. Стоял, смотрел устало.
Дотронулся прощальными устами.

Не знала, что печаль возьмёт за горло.
Я перед смертью помяну добром:
его кирея птицей чёрной
в последний раз мелькнула за бугром.

А я, в которой всё давно остыло, -
мне выплакаться не хватило дня.

Прощай, Иван, друг верный, самый милый,
живая Искра вечного огня!

Выходит полк. Иван под хоругвами.
Я у дороги в стороне стою.
Моя душа забилась под словами,
запели песню. Боже мой, мою!

И «Зелёненький барвиночку»,
и «Не плачь, не журись,
а за своего миленького Богу помолись»,
и про того козаченька,
что ехал на Десну:
«Расти, расти, дивчинонька,
на другую весну!»
и про воду мутную,
что волною сбило.
И про ту дивчиноньку,
что верно любила,
и про гору высокую,
и про ту криницу…

Девчата вчера берегом шли,
запели: «Ой, не ходи, Грицю».

А я стояла. Что же мне кричать-то?..
Какие мне промолвить им слова?..
Девчаточки, девчатоньки, девчата!
Не пойте эту, я ж ещё жива.

КОНЕЦ